



УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Бл. Августин

**Творения
Том третий
Часть 1**

© Сканирование и создание электронного варианта:
Библиотека Киевской Духовной Академии
(www.lib.kdais.kiev.ua)



Киев
2012



БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН

ТВОРЕНИЯ
(том третий)



О ГРАДЕ БОЖИЕМ книги I—XIII

Составление и подготовка текста
к печати *С. И. Еремеева*

Научно-популярное издание

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»
Санкт-Петербург
УЦИММ-Пресс
Киев
1998

С.И.



О ГРАДЕ БОЖИЕМ

КНИГА ПЕРВАЯ

Предисловие

В этом сочинении, любезнейший сын мой Марцеллин, тобою задуманном, а для меня, в силу данного мною обещания, обязательном, я поставил своей задачей защитить град Божий, славнейший как в этом течении времени, когда странствует он между нечестивыми, “живя верою” (Аввак. II, 4), так и в той вечной жизни, которую сейчас он “ожидает в терпении” (Рим. VIII, 25), веря, что “суд возвратится к правде” (Пс. XCIII, 15), и которую он обретет в силу несомненного ее превосходства, защитить против тех, которые ставят своих богов выше его Основателя. Велик и тяжел этот труд; но “Бог нам прибежище” (Пс. LXI, 9).

Знаю, какие нужны силы для того, чтобы убедить гордых, как велика доблесть смирения, благодаря которой все земные величия, колеблющиеся от непостоянства времени, превосходит не присвоенная себе человеческой спесью высота, а та, которая даруется божественною благодатью. Ибо Царь и Основатель этого града, о котором мы задумали говорить, открыл в Писании Своем народам определение божественного закона, в котором сказано: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (Иак. IV, 6; I Пет. V, 5). Но то, что принадлежит одному только Богу, старается присвоить себе и надменный дух гордой души, и любит, чтобы ему вменяли в славу

Щадить покорных, низлагая гордых.*

Поэтому, насколько того требует предпринятый мною труд и насколько это представляется возможным, нельзя обойти молчанием и земного града, который, стремясь к

* Virg. Aeneid. VI, v. 853.



господству, сам находится под господством этой страсти господствовать, хотя ему и раболепствуют народы.

Глава I

Из этого-то града и выходят враги, от которых нам надлежит защищать град Божий. Многие из них, впрочем, исправив заблуждение нечестия, становятся вполне приличными гражданами града, но многие до такой степени воспаляются ненавистью к нему и до такой степени оказываются неблагодарными к очевидным благодеяниям его Искупителя, что поднимают против него в настоящее время языки свои даже потому, что, избегая вражеского меча, спасли жизнь, которою гордятся, в его священных местах*.

Разве враждебными имени Христову оказываются не именно те римляне, которых варвары пощадили ради Христа? Об этом свидетельствуют места мучеников и базилики апостолов, которые во время опустошения Рима уберегли в себе и своих, и чужих. До их порога свирепствовал кровожадный неприятель; там останавливалась ярость убийцы; туда сострадательные враги приводили тех, кого щадили вне этих мест, чтобы не набросились на них другие, которые подобного сострадания не имели. Даже у тех из них, которые убивали и свирепствовали по обычаю врагов в других местах, и у тех, после того как приходили они туда, где запрещено было то, что в других местах по праву войны дозволялось, вся свирепость укрощалась и пропадала жадность к военной добыче. Таким-то образом уцелели многие, унижающие теперь времена христианские и обвиняющие Христа за все те бедствия, которые испытал их град, а те блага жизни, что даны были им в честь Христа, приписывают не нашему Христу, а своему фатуму.

* Здесь и далее речь идет о взятии и разграблении Рима вестготами под предводительством Алариха в 410 г. Будучи в большинстве своем христианами, вестготы не тронули христианских святынь и пощадили укрывшихся там горожан.



А между тем, если бы было у них хоть сколько-нибудь здравого смысла, они должны были бы все то, что претерпели от врагов сурового и жестокого, приписать божественному провидению, которое обыкновенно исправляет и сглаживает войнами испорченные нравы людей, справедливую же и похвальную жизнь смертных в то же самое время этими поражениями упражняет, и по испытании или переносит их в лучший мир, или удерживает на этой земле ради пользы других. А то, что кровожадные варвары, вопреки обычаю войны, пощадили их ради имени Христова в местах, посвященных имени Христову, — это им следовало приписать временам христианским. И за это они должны были благодарить Бога, и чтобы избежать наказания вечным огнем, искренне прибегнуть к имени Его, имени, которое многие употребили ложно, чтобы избежать неминуемой гибели. Ведь среди тех, которых ты видишь так дерзко и нагло издевающимися над рабами Христовыми, весьма много таких, которые не избежали бы этой гибели и истребления, если бы не выдали себя ложно за рабов Христа. И вот, в неблагодарной своей гордыне и по нечестивейшему безумию, чтобы получить наказание вечным мраком, восстают они извращенным сердцем своим против имени Его, имени, к которому прибегли лукавыми устами своими, чтобы пользоваться временным светом!

Глава II

Описано немало войн, которые велись как до основания Рима, так и после, в том числе и во времена империи: пусть прочитают и скажут, был ли какой-либо город взят иноплемениками так, чтобы враги, взявшие его, пощадили тех, кого нашли укрывшимися в храмах своих богов; или чтобы какой-либо предводитель варваров дал повеление, ворвавшись в город, не убивать никого, кто убежал бы в тот или иной храм? Разве не видел Эней, как Приам на жертвеннике



Кровью своей осквернил им огонь освященный?*

Или это не Диомед и Улисс

*Стражей священного храма убивши, украли
Образ святейший; руками, залитыми кровью
Чистых повязок богини коснуться дерзнули**?*

И, однако же, то было неправда, о чем говорится далее:

После того, пошатнувшись, ослабла надежда ахейцев,

ибо после того они победили; после того они разрушили Троию огнем и мечем; после того обезглавили Приама, искавшего убежища у жертвенников. Что же тогда потеряла перед этим сама Минерва, что погибла? Не стражей ли своих? Действительно, она могла быть унесена только после их умерщвления. Ведь не статуя охраняла людей, а люди — статую. Зачем же тогда ей молились, чтобы она охраняла отчизну и граждан, если она не имела сил сохранить даже стражей своих?

Глава III

И римляне утешались, что таким богам вверили в охранение свой город! О, какое жалкое заблуждение! И при этом на нас обижаются за то, что мы говорим подобные вещи об их богах, а на своих писателей — нет; более того, за изучение их назначили награду, а самих учителей, сверх того, сочли достойными и общественного жалования, и высокого сана. А между тем, у Вергилия, которого малые дети читают потому, что он-де величайший из поэтов, самый знаменитый и лучший, и надо его поэтому изучать в нежном возрасте, поскольку усвоенное

* Virg. Aeneid. II, v. 502.

** Ibid. v. 166 — 168.



онными душами запоминается крепче, о чем говорит и Гораций в своем известном изречении:

*Глиняный новый сосуд долго удерживать сможет
Запах налитого**,

— у этого самого Вергилия Юнона, ненавидящая троянцев, представлена говорящею Эолу, царю ветров, следующие слова, направленные на то, чтобы возбудить его гнев против них:

*Род мне враждебный плывет по Тирренскому морю,
Трои сыны, что везут побежденных пенатов**.*

Этим ли побежденным пенатам мудрые люди должны были верить Рим, чтобы сделать его непобедимым? Но Юнона-де, возразят нам, говорила это, как раздраженная женщина, которая не знает, что говорит. А сам Эней, названный во всех отношениях благочестивым, не рассказывает ли так:

*Вот и Пантей Отриад, храма и Феба служитель
Тащит рукою священной богов побежденных и внука
Малого; путь потеряв, направляется к дому***?*

Не богов ли, которых не сомневается назвать побежденными, представляет он скорее вверенными ему, чем себя — им, когда к нему обращаются с такою речью:

*Верьет тебе Илион и пенатов своих, и святыню****?*

Итак, если Вергилий говорит, что боги таковы, что они были побеждены, что были вверены человеку, чтобы, как побежденные, могли каким бы то ни было образом

* Horat. Epist. lib. I. Epist. II, v. 69, 70.

** Virg. Aeneid. I, v. 67, 68.

*** Virg. Aeneid. II, v. 318 — 321.

**** Ibid. v. 293.



Ити, то сколь же безумно полагать мудростью то, что Рим был вверен таким охранителям: как-будто он не мог бы подвергнуться опустошению, если бы их не оставил? Да и поклоняться побежденным богам, как правителям и защитникам, не значит ли, вместо добрых надежд на божество, становиться под дурные предзнаменования? Гораздо разумнее верить не тому, что Рим не дошел бы до такого бедствия, если бы не погибли прежде они, а тому, что они погибли бы давным давно, если бы их не охранял, насколько мог, сам Рим. Ибо кто, вникнув в суть дела, не поймет, как легкомысленно составилось предубеждение, будто Рим не мог быть побежден под защиту побежденных, и потому погиб, что потерял своих стражей-богов, когда достаточной причиной гибели могло быть даже одно то, что он захотел иметь стражей, которым угрожала гибель. Итак, когда вышеприведенное писалось и воспевалось о богах, то это не был вымысел поэтов: это вынуждала говорить разумных людей сама истина. Но об этом более обстоятельно мы поговорим в другом месте.

В настоящем же случае я поподробнее остановлюсь на поведении тех неблагодарных людей, которые зло, терпимое ими заслуженно вследствие развращенности их нравов, богохульно вменяют в вину Христу, а на то, что им, даже и таким, дана была пощада ради Христа, не удостоивают обратить своего внимания; в безумии святотатственной дерзости упражняют они свои языки, хуля имя Христово, языки, которыми лживо произносили это святое имя, чтобы остаться в живых, или, по крайней мере, удерживали их в посвященных Ему местах, чтобы там, где ради Него враги оставляли их неприкосновенными, быть в безопасности под Его защитой; но как только опасность миновала, они поспешили убраться оттуда и выступить с враждебными против Него злословиями.

Глава IV

Как сказал я, сама Троя, мать римского народа, не могла в священных местах своих богов ограбить горожан



от огня и меча греков; хотя греки почитали тех же богов. Потому что в убежище Юноны

*Феникс и лютый Улисс охраняли ахейцев добычу,
Стоя на страже: туда отовсюду из Трои сносились
С храмов зажженных погибшего града святыни:
Тризна богов, из массивного золота чаши,
Горы одежд драгоценных — копий врага достоянье;
Малые дети и матери их, замирая от страха,
Рядом стояли вокруг*.*

Очевидно, что священное место такой великой богини избрано было не для того, чтобы оттуда не дозволялось забирать в плен, а для того, чтобы туда можно было заключать пленных. Теперь сравни это убежище, священное место не какого-нибудь рядового бога или одного из толпы низших богов, а сестры и супруги самого Юпитера и царицы всех богов, — сравни с местами, посвященными памяти наших апостолов. В то убежище сносились добыча, награбленная из зажженных храмов и у богов, сносилась не для того, чтобы ее возвратить побежденным, а для того, чтобы поделить между победителями; здесь же и то, что было взято в другом месте, но оказалось принадлежавшим этим местам, было возвращено им с честью и благоговейным уважением. Там свобода терялась; здесь она сохранялась. Там сберегалось отнятое; здесь запрещено было брать. Туда владычествующий враг сгонял для обращения в рабство; сюда сострадательные враги приводили для освобождения. Наконец, тот храм Юноны избрала для себя жадность и гордость легкомысленных греков, а эти базилики Христовы — милосердие и смирение самых необузданных варваров. Но, возможно, на самом деле греки во время этой своей победы пощадили храмы общих и им богов и не решились убивать и забирать в плен убежавших туда несчастных побежденных троянцев, а Вергилий, как это нередко бывает у поэтов, выдумал все

* Virg. Aeneid. II, v. 762 — 767.



ышеприведенное? Но ведь он описал обычай врагов, разрушающих города.

Глава V

Даже Цезарь (как пишет о том Саллюстий, историк, известный своею правдивостью) не преминул в своей речи, которую произносил в сенате относительно заговорщиков, упомянуть об этом обычае: “Похищать девиц и отроков; исторгать детей из объятий родителей; матерей семейств заставлять терпеть все, что заблагорассудится победителям; храмы и дома грабить; производить убийства и пожары; наполнять, наконец, все звоном оружия, трупами, кровью и воплем”*. Если бы он умолчал в этом случае о храмах, мы бы еще могли подумать, что враги имели обычай щадить местопребывания богов. И опасность такого рода угрожала римским храмам не со стороны чужеземных врагов, а со стороны Катилины и его союзников, благороднейших сенаторов и римских граждан. Но это-де люди потерянные и отцеубийцы отчизны...

Глава VI

Но зачем нам перебирать множество народов, ведших между собою войны и никогда не дававших пощады побежденным в храмах их богов? Посмотрим на самих римлян; вспомним, говорю, и пересмотрим этих самых римлян, которые в особую славу себе вменяли

Щадить покорных, низлагая гордых,

и которые якобы предпочитали прощать полученные оскорбления, а не мстить за них. Для распространения своего владычества они разрушили столько и таких больших, взятых силою оружия, городов. Пусть же прочитают нам,

* Sallust. de Catilinae conjurat.



какие храмы они имели обычай выделять, чтобы освободить всякого, кто бы в них укрылся? Или они делали это, но историки о том умолчали? Неужели историки, нарочито выискивавшие такое, что могли бы хвалить, обходили молчанием подобные, по их же мнению, самые блистательные доказательства благочестия?

О знаменитом римлянине Марке Марцелле, взявшем славный город Сиракузы, рассказывают, что он перед штурмом плакал об угрожавшем городу разрушению. Позаботился он и об охране целомудрия, даже и в отношении к врагу. Ибо прежде, чем, как победитель, дал повеление вторгнуться в город, предписал эдиктом, чтобы никто не чинил насилия над свободным телом. Тем не менее город был разрушен по обычаю войны, и мы нигде не прочтем, чтобы такой целомудренный и милостивый полководец дал приказ оставлять неприкосновенным того, кто убежал бы в тот или иной храм. А об этом никоим образом не было бы умолчано, коль скоро не нашли возможным умолчать ни о его плаче, ни об изданном им запрещении оскорблять целомудрие. Фабия, разрушителя Тарента, хвалят за то, что он не захотел обратить в военную добычу кумиров. Когда писец спросил у него, как он прикажет поступить со статуями богов, которых было набрано множество, он прикрыл умеренность свою шуткой. Он спросил, каковы они, и когда ему ответили, что многие из них не только велики, но и вооружены, он сказал: “Оставим гневливых богов тарентинцам”. Итак, если плач того и смех этого, целомудренное сострадание первого и шутливо выраженное благородство последнего не были обойдены молчанием римскими историками, то как могло бы быть ими опущено, если бы они оказали каким-нибудь людям пощаду в честь какого-либо из их богов в том смысле, что запретили бы в каком-нибудь храме совершать убийства и грабежи?

Глава VII

Итак, все эти опустошения, убийства, грабежи, пожары, страдания, совершившиеся во время последнего римского



поражения, все это произвел обычай войны. А то, что совершилось по новому обычаю: что варварская необузданность оказалась кроткой непривычным для войны образом; что в качестве убежища народу, который должен был получить пощаду, были выбраны и указаны обширнейшие базилики, где никого не убивали, откуда никого не брали в плен, куда сострадательные враги приводили многих для освобождения, откуда не уводили в плен никого даже самые жестокие из них: все это следует приписать имени Христа; все это следует приписать времени христианскому. Кто этого не видит, тот слеп. Кто же видит, но не хвалит, тот неблагодарен. А кто возражает хвляющему, тот безумен. Человек благоразумный ни в коем случае не станет объяснять этого варварством врагов. Кроважадные и жестокие души Тот устрасил, Тот обуздал, Тот удивительнейшим образом умерил, Кто задолго до этого предсказал чрез пророка: “Посещу жезлом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму от него” (Пс. LXXXVIII, 33, 34).

Глава VIII

Кто-нибудь скажет: так почему же это божественное милосердие простерлось и на нечестивых и неблагодарных? А потому, полагаю, что его оказал Тот, Который ежедневно “повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных” (Мф. V, 45). Хотя некоторые из них, размышляя об этом, исправляются от своего нечестия покаянием, а некоторые, как говорит апостол, презирая богатство благодати и долготерпения Божия, по жестокости своей и непокаянному сердцу, собирают себе “гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его” (Рим. II, 4 — 6); однако терпение Божие призывает к покаянию злых, как бич Божий учит терпению добрых. Так же точно терпение Божие обнимает своим покровительством добрых, как божественная строгость блюдет для наказания злых. Ибо такие блага справедливым, которыми



бы не пользовались несправедливые, и такие бедствия нечестивым, от которых бы не страдали добрые, божественному провидению угодно уготовить в жизни будущей. А эти временные блага и бедствия оно пожелало сделать общими для тех и других. Это для того, чтобы не было слишком жадного стремления к благам, которые оказываются в распоряжении и людей злых, и нравственного отвращения от бедствий, от которых очень часто страдают и люди добрые.

Но есть весьма большое различие в том, как пользуются люди тем ли, что называется счастьем, или тем, что — несчастьем. Ибо добрый ни временными благами не превозносится, ни временным злом не сокрушается; а злой потому и казнится этого рода несчастьем, что от счастья портится. Впрочем, Бог часто обнаруживает с большей очевидностью действие Свое в распределении и этого рода предметов. Ибо, если бы всякий грех был в настоящее время наказуем очевидным образом, можно было бы подумать, что для последнего суда не остается ничего; и наоборот, если бы Божество в жизни не наказывало открыто никакого греха, подумали бы, что божественного провидения нет вовсе. Так же точно и в отношении к счастью: если бы Бог с очевиднейшей щедростью не давал его некоторым просящим, мы сказали бы, что оно зависит не от Него; а если бы давал всем просящим, подумали бы, что Ему только из-за таких наград и следует служить; служение же такое сделало бы нас не благочестивыми, а корыстолюбивыми и жадными.

Если это так, и если какие-нибудь добрые и злые одинаково подвергаются бедствиям, — из того, что не различено, что терпят те и другие, отнюдь не следует, чтобы между ними самими не было никакого различия. Различие между терпящими остается даже при сходстве того, что они терпят; и под одним и тем же орудием пытки добродетель и порок не делаются одним и тем же. Как в одном и том же огне золото блестит, а солома — дымит; и в одной и той же молотилке стебли изламываются, а зерна — очищаются; и отстой масляный не смешивается с маслом только потому, что выдавливается одной и той



же тяжестью прессы: так одна и та же обрушивающаяся бедствиями сила добрых испытывает, очищает, отцеживает, а злых обнаруживает, опустошает и искореняет. Поэтому, терпя одно и то же бедствие, злые клянут и хулят Бога, а добрые молятся Ему и хвалят Его. Важно не то, каково испытание, а только то, каков испытуемый, ибо одинаковым движением взболтанные — навоз невыносимо смердит, а благовоние — благоухает.

Глава IX

Да и что в этом общественном бедствии претерпели христиане такого, что при более верном взгляде на дело не послужило бы к их усовершенствованию? Во-первых, смиренно размышляя о самих грехах, разгневавшись на которые Бог наполнил мир такими бедствиями, они (хотя они и далеко отстоят от злодеев, людей распутных и нечестивых) не настолько признают себя чуждыми разного рода проступков, чтобы всерьез полагать, что им не за что подвергаться за них временным лишениям. Не говорю о том, что каждый, хотя бы он вел и похвальную жизнь, в некоторых случаях поддается плотской склонности: если и не к безмерным злодеяниям, не к крайнему распутству и не к мерзости нечестия, то, по крайней мере, к некоторым грехам, или редким, или столь же частым, сколь и малозначительным; об этом я не говорю. Но легко ли найти такого человека, который бы к этим самым лицам, из-за отвратительной гордости, распущенности и жадности, из-за омерзительных неправд и нечестия которых Бог, как и предсказал с угрозой, стирает земли (Ис. XXIV и др.), относился бы так, как следует к ним относиться, жил с ними так, как с такими следует жить? От того, чтобы их научить, усоветить, а иногда обличить и известным образом наказать, по большей части неуместно воздерживаются: то труд такой кажется тяжелым, то мы стесняемся оскорбить их в лицо, то избегаем вражды, чтобы они не помешали и не повредили нам в этих временных вещах, к приобретению которых еще стремится наша жадность, или потери



от которых боится наша слабость. Таким образом, хотя добрым и не нравится жизнь злых, и они не подвергнутся с последними тому осуждению, которое тем уготовано после этой жизни, однако, так как они щадят достойные осуждения грехи их, хотя за свои, даже легкие и извинительные, боятся, то по справедливости подвергаются вместе с ними и временным наказаниям, хотя в вечности наказаны не будут. Терпя вместе с ними божественные наказания, они по справедливости вкушают горечь этой жизни, так как, любя сладость ее, не захотели сделать ее горькой для упомянутых грешников.

Конечно, если кто воздерживается от обличения и обуздания поступающих дурно или потому, что ищет более удобного для этого времени, или потому, что боится за них же самих, чтобы они не сделались от этого еще хуже или чтобы не воспрепятствовали научить доброй и справедливой жизни других, более слабых, не оказали на них дурного влияния и не отвратили от веры, то в этом обнаруживается не жадность, а мудрое правило любви. Грешно, когда ведущие жизнь добрую и отвращающиеся от дел людей дурных, снисходительно относятся к чужим грехам, от которых должны были бы отучать или которые должны были бы обличать, — относятся снисходительно потому, что боятся оскорблений со стороны дурных людей, боятся вреда в тех вещах, которыми они сами, как добрые и невинные, пользуются дозволительным образом, но с большей жадностью, чем следовало бы это тем, которые странствуют в этом мире, уповая при этом на горнее отечество.

Действительно, не одни только слабейшие, ведущие супружескую жизнь, имеющие или желающие иметь детей, владеющие домами и хозяйствами (к таким апостол обращает речь свою в церквях, когда учит и убеждает, как должны жить жены с мужьями, мужья с женами, дети с родителями, родители с детьми, слуги с господами и господа со слугами) приобретают с охотой и теряют с огорчением многое временное и земное, а потому и не решаются оскорблять людей, чья развратная и полная злодеяний жизнь возбуждает у них отвращение; но и те,



оторые ведут высший род жизни, не связаны узами супружества, довольствуются малым в пище и одежде — и те, слишком заботясь о своем добром имени и безопасности, боясь коварства и нападок со стороны людей дурных, воздерживаются от обличений. Хотя они и не настолько боятся последних, чтобы, уступая каким-либо их угрозам и непотребствам, и самим поступать подобным же образом, однако по большей части не хотят порицать того, чего вместе с ними не делают, хотя своим обличением, быть может, и исправили бы некоторых. Они боятся, чтобы в случае неудачи не пострадали их собственное благосостояние и доброе имя; и боятся этого не потому, что доброе имя свое и благосостояние считают необходимыми для пользы людей, требующих научения, а скорее по той слабости, которая любит ласкающий язык и человеческий день, страшится суда черни, истязания и умерщвления плоти, т. е. по причине некоторых уз вождения, а не по обязанностям любви.

Итак, я вижу в этом достаточную причину того, почему вместе со злыми подвергаются бедствиям и добрые, когда Богу бывает угодно поразить временными казнями развращенные нравы. Подвергаются наказаниям вместе не потому, что совместно вели дурную жизнь, а потому, что совместно (хотя и неравномерно, но, однако же, совместно) любили жизнь временную, которую добрые должны были бы презирать, чтобы дурные, будучи обличены и исправлены, наследовали жизнь вечную (а если бы не захотели быть в наследовании ее союзниками, пусть бы были терпимы и любимы как враги: ибо пока живут, всегда остается надежда, что они изменят свою волю к лучшему). В этом деле они несут не одинаковую, а гораздо большую ответственность, чем те, которым сказано через пророка: “Сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража” (Иезек. XXXIII, 6). Для того и установлены стражи народов, т. е. предстоятели в церквях, чтобы они не щадили своими обличениями грехов. Но при этом не чужд вины подобного рода и тот, кто, хотя он и не предстоятель, но в тех лицах, с которыми связан необходимыми условиями этой жизни, видит многое, заслужива-



еще предостережения и укора, но оставляет это без внимания, избегая ненависти ради того, чем в этой жизни пользуется, как должным, но услаждается более, чем должно. Затем, есть и иная причина, по которой добрые подвергаются временным бедствиям, — такая, какая имела место в отношении Иова: чтобы душа человеческая испытывала саму себя и, наконец, осознала, насколько она, в силу одного только благочестия, бескорыстно любит Бога.

Глава X

Рассмотрев и обсудив сказанное надлежащим образом, обрати внимание на то, случается ли с верными и благочестивыми какое-либо зло, которое не обратилось бы для них в добро? Разве только признать пустыми словами известное изречение апостола, в котором он говорит: “Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу” (Рим. VIII, 28)...

Потеряли они все, что имели? Неужто и веру? Неужто и благочестие? Неужто и благо внутреннего человека, богатого перед Богом (I Пет. III, 4)? Все это — богатства христианина, обладающий которыми апостол говорил: “Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям” (I Тим. VI, 6 — 10).

Итак, те, у кого во время этого разорения погибли земные богатства, если смотрели они на эти богатства так, как учил этот внешне бедный, а внутренне богатый человек, могли сказать, как сказал и Иов, тяжело испытанный, но непобежденный: “Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!” (Иов. I, 21). Добрый раб, он



читал величайшим своим богатством исполнять волю Господа, следуя которой богател умом, и не огорчился, потеряв при жизни те вещи, которые должен был бы потерять вместе со смертью. Те же слабейшие, которые, хотя и не предпочитали этих земных благ Христу, были, однако же, с некоторой страстностью привязаны к ним, те, теряя их, почувствовали, насколько, любя их, грешили. Ибо они пострадали настолько, насколько подвергли сами себя скорбям, как сказано об этом в вышеупомянутых словах апостола. Им нужно было прибавить урок опыта, так как они долго пренебрегали уроком словесным. Ибо, когда апостол говорил: “Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры...”, и т. д., то осуждал, конечно, пристрастие к богатству, а не само богатство; потому что в другом месте он дает такое повеление: “Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни” (1 Тим. VI, 17 — 19).

Кто употреблял свое богатство так, те ничтожные убытки свои покрыли великими прибылями; и были более обрадованы тем, что, охотно раздавая, вернее сохранили, чем опечалены тем, что, боязливо сберегая, легче потеряли. То могло погибнуть на земле, что было жаль на земле передавать. Приняв же совет Господа своего, говорящего: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкопывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф. VI, 19 — 21), они в годину бедствия на опыте убедились, как благоразумно поступили, что не пренебрегли советом правдивейшего Наставника и вернейшего и непобедимейшего Стража их сокровища. Если многие радовались, что имели богатства свои в таких местах, куда не случилось дойти неприятелю, то не тем ли вернее и беззаботнее могли радоваться они,



перенеся по совету Божию свои богатства туда, куда враг вовсе не может проникнуть?

Поэтому наш Павлин, епископ Нолы, добровольно ставший из богатого беднейшим, но изобильнейшим святостью, когда варвары опустошили Нолу, задержанный ими, молился (как узнали мы потом от него самого) в сердце своем так: “Да не истязают меня, Господи, пытая, где золото и серебро: Тебе ведомо, где”. Все свое он имел там, куда убеждал его скрывать и копить Тот, Кто предсказал и эти бедствия, ныне постигнувшие мир. Поэтому, кто послушал увещания Господа своего относительно того, куда и как должно собирать сокровища, тот не потерял при нашествии варваров и самих земных богатств; а кому пришлось раскаяться, что не послушал, тот, если не из предшествующего указания мудрости, то из последующего опыта научился, как с подобными вещами следует поступать.

Но, говорят, некоторых и добрых-де христиан подвергли пыткам, чтобы они выдали врагам свои имущества. Но они не могли ни выдать, ни потерять того добра, которое их самих делало добрыми. А если захотели лучше подвергнуться пыткам, чем выдать маммону неправды, то не были добрыми. Потерпевшие же столько из-за золота получили урок, сколько должны они претерпевать за Христа. Они научились, что следует любить Того, Кто пострадавших за Него обогатит вечным блаженством, а не золото и серебро, страдать ради которого было глупо, скрыть которое можно было только прибегнув ко лжи, но которое приходилось выдать, если говорить правду. Ибо в пытках никто не потерял Христа через исповедание Его, а золото никто не сохранил иначе, как только через его отрицание. Поэтому пытки могли быть весьма полезны: они учили любить благо нетленное вместо тех благ, из-за любви к которым их владельцы подвергались истязаниям безо всякой для себя пользы.

Но некоторые-де, говорят, даже не имевшие ничего, что могли бы выдать, были подвергнуты пыткам из-за недоверия к ним. Но, не исключено, что эти желали иметь, и были бедны не по своей воле. Таким следовало



показать, что не имущество, а пристрастие к нему достойно таких истязаний. Если же в чаянии лучшей жизни они не имели здесь скрытого золота и серебра, — хотя я и не знаю, случилось ли кому-либо из таких быть подвергнутым пыткам, но если и случилось, — то несомненно, что исповедавшие в пытках святую нищету, исповедали Христа. Поэтому, если кто-то из них и не заслужил у врагов доверия, он не мог, однако же, как исповедник святой нищеты, терпеть истязания без небесной награды.

Говорят также, что многие христиане были истощены долговременным голодом. Но и это добрые верные, перенося благочестиво, обратили себе на пользу. Ибо кого голод умертвил, того он освободил от зол этой жизни, как освобождает телесная болезнь; а кого не умертвил, того научил жить умереннее и подольше поститься.

Глава XI

Но (возразят нам) много христиан было и убито, много истреблено разными видами ужасных смертей. Об этом, возможно, и следует скорбеть, но ведь это — общий удел всех, которые родились для этой жизни. Я знаю одно, что не умер никто, кто рано или поздно не должен был умереть. А конец жизни один: как жизни долгой, так и короткой. Одно не лучше, а другое не хуже, или: одно не больше, а другое не меньше, коль скоро то и другое в равной мере уже не существует. И что за важность, каким видом смерти оканчивается эта жизнь, коль скоро тот, для кого она оканчивается, не вынужден будет умирать снова? А если каждому из смертных, при ежедневных случайностях этой жизни, угрожают некоторым образом бесчисленные виды смерти, пока остается неизвестным — какой именно из них постигнет его: то скажи на милость, не лучше ли испытать один из них, умерши, чем бояться всех, продолжая жить? Знаю, что наши чувства предпочитают лучше долго жить под страхом стольких смертей, чем, умерши раз, не бояться потом ни одной. Но одно дело то, чего убегает по слабости боязливое плотское



чувство, и совсем другое — то, в чем убеждает тщательно проверенное указание разума. Та смерть не должна считаться злою, которой предшествовала жизнь добрая. Смерть делает злою только то, что следует за смертью. Поэтому, кому предстоит необходимость умереть, те не должны много заботиться о том, что именно с ними случится такого, от чего они умрут, а должны заботиться о том, куда, умирая, они вынуждены будут идти. Итак, если христианам известно, что смерть благочестивого бедняка под языками собак, лижущих его струпья, была гораздо лучше, чем смерть нечестивого богача в порфире и виссоне (Лук. XVI, 19 — 26), то какой вред причинили эти ужасные виды смерти тем, кто жил хорошо?

Глава XII

Но при такой-де массе трупов их не могли и похоронить! И этого благочестивая вера особенно не страшится, помня предсказание, что и звери, пожирающие трупы, не помешают воскресению тел, с головы которых не погибнет и волос (Лук. XXI, 18). Истина не сказала бы: “Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить” (Мф. X, 28), если бы будущей жизни могло принести какой-либо вред то, что вздумали бы делать враги над телами убитых. Разве что кто-нибудь будет до такой степени глуп, что станет утверждать, будто убивающих тело не следует бояться прежде смерти, чтобы не убили тела, а должно бояться после смерти, чтобы не запретили похоронить убитое тело. Что же, ложно то, что говорит Христос: “Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать” (Лук. XII, 4), коль скоро убийцы могут нечто сотворить с трупом? Да не будет: сказанное Истиной не может быть ложью. Так сказано потому, что в живом теле, т. е. до его убийства, есть чувства; после же убийства в теле никаких чувств нет.

Итак, земле не были преданы многие тела христиан, но из-за этого никто не отлучит их от неба и земли, которые наполняет своим присутствием Тот, Кто знает,



откуда воскресить сотворенное Им. Правда, в псалме говорится: “Трупы рабов Твоих отдали на снадение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным; пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их” (Пс. LXXVIII, 2, 3), но говорится это для того, чтобы подчеркнуть жестокость сотворивших это, а не для того, чтобы увеличить жалость к потерпевшим. Хотя в глазах людей все это и кажется чем-то ужасным, но “дорога в очах Господних смерть святых Его” (Пс. CXV, 6). Поэтому все такое: омытие и наряжение тела, обряд похорон, пышность проводов, — все это скорее утешение живых, чем помощь умершим. Если бы дорогостоящее погребение могло принести пользу нечестивому при жизни покойнику, то бедное или вообще никакое погребение могло бы повредить праведнику. Но мы помним: облеченному в пурпур богачу многочисленная челядь его сделала, по суждению толпы, пышные проводы, а, между тем, на взгляд Господа гораздо лучшие были сделаны покрытому язвами бедняку служением ангелов, которые выносили его не в мраморный склеп, а перенесли на лоно Авраамово.

Те, от нападков которых мы вознамерились защищать град Божий, смеются над этим. Но ведь и их собственные философы пренебрегали заботами о погребении. Нередко и целые войска, умирая за земное свое отечество, не заботились о том, где они будут лежать после или каким зверям послужат пищей. И поэты весьма часто отзывались о таких с похвалой:

*Тем, кто не в урнах лежит, небосвод весь —
надгробье*.*

Насколько же меньше у них оснований смеяться над погребением тел христиан, которым обещано со временем не только преобразование из земли их плоти со всеми ее членами, но и возвращение и восстановление их из лона других стихий, в которые обратились разложившиеся трупы!

* Lucan. in 7 de occisis.



Глава XIII

Из сказанного, однако, не следует делать вывод, будто телами умерших надлежит пренебрегать, оставляя их где придется, особенно же если речь идет о телах праведников, которые были как бы сосудами Духа Святого, предназначенными для всяких добрых дел. Если отцовские одежды, кольца и иные какие вещи тем дороже детям, чем сильнее они любили его, то тем более не должны презираться и тела, бывшие, конечно, куда ближе и дороже покойным, нежели их одежды. Они ведь — не предметы роскоши или вещи, созданные для удобства, но принадлежат самой человеческой природе. Поэтому в том, как омываются и наряжаются тела праведников, как совершаются их торжественные выносы, сколь заботливо обставляются погребения, следует усматривать не что иное, как исполнение долга любви. Иные из них и при жизни давали распоряжения сыновьям относительно погребения и даже перенесения их тел (Быт. XLVII, 30; Л, 2, 25). И Товия, как свидетельствует о том ангел, заслужил благоволение Божие погребением мертвых (Тов. XII, 12). Да и сам Господь, долженствующий воскреснуть на третий день, называет добрым поступок благочестивой женщины, возлившей на члены Его драгоценное миро, тем приутолив Его к погребению (Мф. XXVI, 10). Также с похвалою упоминаются в Евангелии те, которые позаботились снять с креста, с честью покрыть и похоронить тело Его (Иоан. XIX, 38, 39).

Все эти свидетельства не дают, конечно, указаний на то, что трупам присущи какие бы то ни было чувства, но показывают, что провидение Божие, которому угодны дела благочестия, печется и о телах умерших ради укрепления веры в воскресение. Их этих же свидетельств душеспасительно усматривается и то, как велико может быть воздаяние за милостыни, которые мы оказываем живым и чувствующим, если пред Богом не погибнет и то, что оказывается по долгу и любви безжизненным человеческим телам.



Есть, впрочем, и нечто иное, что желали дать уразуметь святые патриархи своими изречениями и пророчествами относительно погребения и перенесения своих тел. Но останавливаться на рассмотрении этого сейчас неуместно: достаточно и сказанного. Но если даже отсутствие таких необходимых для поддержания жизни вещей, как пища и одежда, хотя и причиняет страдания, но не уничтожает в добрых силы терпеть и переносить лишения и не исторгает из душ их благочестия, а, напротив, делает его еще более плодovitым, то тем более отсутствие всего того, что делается обычно при погребении, не может сделать несчастными уже упокоившихся в тайных обителях праведных. Поэтому, если всех этих обрядов не было совершено над трупами христиан при известном опустошении столицы или других городов, то это и не вина живых, которые сделать этого не могли, и не наказание для мертвых, которые лишены уже всяческих чувств.

Глава XIV

Но многие христиане, говорят они, были уведены в плен. Действительно, было бы большим несчастьем, если бы они были уведены в какое-нибудь такое место, где не могли бы найти Господа своего! На случай же плена есть в святых Писаниях наших великие утешения. Были в плену три отрока, был Данииил, были и другие пророки, и всегда с ними был Бог утешитель. Не оставит верных Своих под господством народа, варварского, но человеколюбивого, Тот, Кто не оставил пророка Своего даже во чреве китовом. Те, которым мы говорим это, расположены скорее смеяться над этим, чем верить. Однако же, в своих сочинениях они верят, что Орион Метимней, благороднейший игрок на цитре, когда был сброшен за борт корабля, был принят на спину дельфином и вынесен им на землю. Но наше-де сказание о пророке Ионе невероятней! Действительно, невероятней, ибо чудесней; а чудеснее потому, что говорит оно о большем могуществе.



Глава XV

В истории своих знаменитых мужей они имеют благороднейший пример того, что ради веры следует переносить плен даже добровольно. Марк Аттилий Регул, полководец римского народа, был в плену у карфагенян. Последние, желая обменять этих пленных на соотечественников, взятых в плен римлянами, послали с этим предложением в Рим своих послов в сопровождении Регула, предварительно взяв с него клятву возвратиться в Карфаген, если он не добьется исполнения их желания. Он поехал, но в сенате настоял на противоположном, ибо обмен пленными считал невыгодным для римской республики. Соотечественники, убедившись в этом, не принуждали его возвращаться к врагам, но он сам добровольно исполнил то, в чем поклялся. А те умертвили его неслыханными и ужасными истязаниями: заключив его в узком деревянном пространстве, в котором он вынужден был стоять, и набив со всех сторон острейшие гвозди, чтобы он не мог прислониться, они умертвили его бессоницей. Проявленную им доблесть, конечно, хвалят заслуженно. А между тем, он клялся теми богами, вследствие запрещения культа которых, полагают, мир поражен настоящими бедствиями. Но если их почитали для того, чтобы они сделали эту жизнь счастливою, то, пожелав или допустив подвергнуть таким казням клявшегося в истине, что более тяжкого могли они, разгневанные, сделать клятвопреступнику?

Впрочем, почему бы мне не сделать из этого двойного вывода? Он действительно чтил богов до такой степени, что ради исполнения клятвы не остался в отечестве и не ушел из него в какое-либо другое место, а, ни секунды не колеблясь, возвратился к своим жесточайшим врагам. Если он считал это полезным для настоящей жизни, которую окончил столь ужасно, то он, без всякого сомнения, ошибался. Своим собственным примером он доказал, что боги не приносят никакой пользы своим поклонникам для этого временного счастья: потому что сам он, преданный их культу, был побежден, взят в плен, и за то, что не хотел поступить иначе, чем как им клялся,



Был умерщвлен истязаниями казни нового, до того времени неслыханного и до крайности ужасного рода. Если же культ богов дает счастье в виде награды после этой жизни, то зачем возводят клевету на времена христианские, утверждая, что настоящее бедствие постигло Рим потому, что он перестал почитать своих богов, если мог быть несчастным и такой усерднейший их почитатель, каким был Регул? Разве что какое-то чудовищно слепое безумие вооружится против очевиднейшей истины до такой степени, что осмелится утверждать, будто целое гражданское общество, чтущее богов, несчастным быть не может, а один-де человек — может; т. е., что могущество богов их скорее способно охранять многих, чем отдельно взятых, хотя множество слагается из единиц.

Но они, пожалуй, скажут, что Регул и в плену, и в самих истязаниях телесных мог быть блаженным душевной добродетелью. В таком случае прежде всего следует заботиться о добродетели, которая может сделать блаженным и гражданское общество. Ведь не одним же блаженно общество, и совсем другим — человек: потому что общество есть не что иное, как соединение множества людей. В виду этого я не вхожу пока в рассмотрение того, какая была в Регуле добродетель. На этот раз мне достаточно, что этот благороднейший пример вынуждает их признать, что богов следует почитать не ради телесных благ или таких вещей, которые достаются человеку извне: потому что Регул пожелал лучше лишиться всего этого, чем оскорбить богов, которыми клялся. Но что поделаешь с людьми, которые хвалятся, что имели такого гражданина, каким бояться иметь целое гражданское общество? Ведь если бы они не боялись, они согласились бы, что то, что случилось с Регулом, могло случиться и с государством, также как и Регул усердно почитающим богов, и не возводили бы хулу на христианские времена. Но так как вопрос поднят о тех христианах, которые уведены в плен, то бесстыдно и бессмысленно смеющиеся над спасительной религией пусть умолкнут, обратив внимание на следующее: если их богам не было стыдно, что усерднейший их почитатель, сохраняя верность данной им клятве, потерял



отечество, не имея другого, и в плену у врагов принял мучительную смерть от вновь изобретенной жестокой казни, то тем менее следует ставить в вину христианству плен его святых, которые, с нелживою верой ожидая вышней отчизны, признают себя странниками даже в постоянных местах своего жительства.

Глава XVI

Думают, что укоряют христиан в великом преступлении, когда, преувеличивая бедствия плена, присоединяют и то, что были насильственно осквернены не только чужие жены и незамужние девицы, но и некоторые монахини. На самом же деле этим ставится в щекотливое положение не вера, не благочестие и не та добродетель, которая называется целомудрием, а само рассуждение наше, имеющее перед собою, с одной стороны, стыдливость, с другой — разум. И мы заботимся в этом случае не столько о том, чтобы дать ответ чужим, сколько о том, чтобы доставить утешение своим. Можно, конечно, прежде всего признать несомненным и доказанным, что добродетель, которая делает жизнь справедливой, повелевает телесными членами, сама пребывая в душе, и что тело бывает свято от руководства им святою волей, при неизменности и твердости которой, что бы кто другой ни сделал с телом или в теле, будет вне вины потерпевшего, если избежать того он не мог без греха со своей стороны. Но так как над чужим телом можно совершить не только такое, что причиняет болезнь, но и такое, что относится к сладострастному наслаждению, то, когда что-нибудь подобное бывает сделано, оно, хотя и не уничтожает целомудрия, удерживаемого твердым постоянством души, но потрясает чувство стыдливости; могут ведь подумать, что случилось не без некоторого соизволения мысли такое, что, быть может, и не могло совершиться без некоторого плотского удовольствия.



Глава XVII

Поэтому, какое человеческое чувство откажется извинить тех, которые убивали себя, чтобы не претерпеть чего-либо в этом роде? Но если некоторые не захотели убить себя для того, чтобы своим преступлением избежать чужого над собой злодейства, то тот, кто поставил бы им это в вину, не избежал бы сам обвинения в неразумии. Ведь если вообще не позволительно частному лицу своею властью убивать человека, хотя бы и совершающего преступления (никакой закон не дает права на подобное убийство), то и убивающий самого себя, несомненно, человекоубийца; и когда убивает себя, бывает тем преступнее, чем он невиннее в том деле, из-за которого считает нужным убить себя. Мы по справедливости гнушаемся поступком Иуды, и по суду истины он скорее увеличил, чем искупил преступление своего злодейского предательства тем, что удавился: потому что, отчаиваясь в Божьем милосердии, он в чувстве пагубного раскаяния не оставил себе никакого места для спасительного покаяния. Но не тем ли более должен воздерживаться от самоубийства тот, кто не имеет в себе ничего, что заслуживало бы подобного наказания? Когда убил себя Иуда, он убил человека, запятнанного злодейством, и все же окончил эту жизнь как виновный не только в смерти Христа, но и в своей собственной, потому что был убит хотя и за свое злодейство, но посредством своего же другого злодеяния. С какой же стати человеку, который не сделал никакого зла, совершать злодеяние над самим собою, и убивая себя, убивать человека невинного единственно для того, чтобы не допустить другого стать виновным? Зачем совершать над собою грех самому только для того, чтобы над нами не был совершен грех чужой?

Глава XVIII

Не из опасения ли, чтобы не осквернило чужое сладострастие? Не осквернит оно, если будет чужое; а если



осквернит, то не будет чужое. Если целомудрие составляет душевную добродетель и имеет спутником своим мужество, которое ставит своим правилом скорее переносить какое бы то ни было зло, чем злу сочувствовать; и если никто мужественный и целомудренный не имеет в своей власти того, что делается над его телом, а имеет лишь то, что соизволяет или что отрицает своею мыслью: то кто, сохраняя ту же чистоту мысли, сочтет себя потерявшим целомудрие, если случится, что над его плотью, лишенную свободы и обессиленной, станет упражняться и искать для себя удовлетворения не его сладострастие? Если бы целомудрие погибало таким образом, целомудрие отнюдь не было бы душевной добродетелью и не относилось бы к тем благам, из которых слагается добрая жизнь, а считалось бы одним из благ телесных, каковы: сила, красота, крепкое и неповрежденное здоровье и прочие такого же рода. Подобные блага, если и подвергаются убыли, нисколько не убавляют доброй и справедливой жизни. Если целомудрие есть нечто такое же, то зачем, чтобы не потерять его, хлопотать из-за него даже с риском для жизни? А если оно есть благо душевное, то его нельзя лишиться и в том случае, если тело будет обессилено. Напротив, благо святого воздержания, коль скоро оно не поддается нечистоте плотских желаний, освящает и само тело; и потому, когда продолжает не поддаваться им с неизменным постоянством, святость не отнимается и у самого тела; ибо остается расположение воли пользоваться им свято, остается даже, насколько от него зависит, и возможность этого.

Не тем свято тело, что не повреждены члены его, и не тем, что не загрязнены они никакими прикосновениями. Они могут подвергаться насильственным повреждениям в разных случаях; а бывает, что и врачи, стараясь восстановить здоровье, делают над нами такое, что кажется на первый на взгляд ужасным. Повивальная бабка, производя рукою исследование невинности одной девицы, по злому ли умыслу, или по невежеству, или по случайности, уничтожила во время осмотра целость ее. Не думаю, чтобы кто-нибудь был настолько глуп, что подумал бы, будто девица потеряла что-нибудь даже в смысле святости самого



ела, хотя целость известного члена и была погублена. Поэтому, пока остается неизменным душевный обет, благодаря которому получило освящение и тело, насилие чужого сладострастия и у самого тела не отнимает святости, которую сохраняет твердая решимость воздержания. И наоборот, если какая-нибудь поврежденная умом женщина, нарушив обет, который дала Богу, льнет ради преступления к своему обольстителю, — скажем ли мы, что она продолжает быть святою по телу, коль скоро она потеряла и уничтожила ту душевную святость, которою святится и тело? Сохрани нас Бог от такого заблуждения; лучше убедимся на примере этого, что при сохранении святости душевной не теряется и святость телесная, хотя бы тело и претерпело насилие; при нарушении же святости душевной теряется и святость телесная, хотя бы тело оставалось неприкосновенным. Поэтому женщина, безо всякого со своей стороны соизволения насильственно схваченная и обращенная в орудие чужого греха, не имеет в себе ничего, что могла бы наказывать добровольною смертью. А еще менее имеет это прежде, чем такое с нею случится; в последнем случае она совершила бы верное человекоубийство в то время, когда злодейство, притом чужое, еще оставалось под сомнением.

Глава XIX

Когда мы говорим, что в случае совершенного над телом насилия, если обет чистоты не нарушается никаким соизволением на зло, злодеяние совершается только тем, кто насилует, а не тою, которая, подвергшись насилию, ничем при этом не содействует насильнику, — этому совершенно ясному положению, возможно, дерзнут противоречить те, против которых мы защищаем не только помыслы христианок, подвергшихся в плену насилию, но и саму святость их тел? Действительно, они всячески превозносят целомудрие Лукреции, благородной древнеримской матроны. Когда сын царя Тарквиния совершил насилие над ее телом, удовлетворив этим свое сладост-



растие, она объявила о злодействе развратного юноши супругу своему Каллатину и родственнику Бруту, мужам храбрым и знаменитым, и призвала их к мести. А потом, страдая душою и не будучи в силах перенести позора, умертвила себя. Что мы скажем на это? Считать ли ее виновною в прелюбодеянии или целомудренной? Кто стал бы спорить об этом? Некто совершенно справедливо заметил по этому поводу: “Удивительно, было их двое, но прелюбодействовал один”! Видя в совокуплении этих двух сквернейшее сладострастие и волю только одного из них, и принимая во внимание не то, что делалось совокуплением членов, а то, что происходило от различия душ, он говорит: “Было их двое, но прелюбодействовал один”.

Но почему же более жестокое наказание постигает ту, которая прелюбодеяния не совершила? Ведь тот вместе с отцом был только изгнан из отечества, а эта претерпела смертную казнь? Если невольно терпеть насилие — не распутство, то в чем же тогда справедливость, когда она, целомудренная, наказывается? К вам обращаюсь, законы и судьи римские. Вы и после действительно совершенного преступления не позволяете безнаказанно убивать злодея, пока он не будет осужден. Итак, если бы это преступление было передано кем-нибудь на ваш суд и вы бы нашли, что убита женщина не только не осужденная, но и чистая и невинная, — неужели вы не подвергли бы соответствующему строгому наказанию того, кто это сделал? А сделала это Лукреция: она сама, прославленная Лукреция, невинную, чистую, претерпевшую насилие Лукрецию вдобавок ко всему еще и умертвила! Произнесите ваш приговор. Если не можете произнести его потому, что нет налицо того, кого вы могли бы наказать, то зачем же вы с такою похвалой отзываетесь об убийце этой невинной и чистой женщины? Перед подземными судьями, даже такими, какими изображают их в стихах ваши поэты, вы не защитите ее, конечно, никакими резонами, потому что она стоит, разумеется, в ряду тех



*Что невинными будучи,
Сами себя умертвили, прервав в одночасье
Жизни свои, ибо свет им всем стал ненавистным*.*

И когда у кого-либо из таких появляется желание вернуться на свет

*Судьба на него восстает, крепко держат на месте
Непроходимые волны печального моря**.*

Возможно, она совсем не там, ибо умертвила себя, хотя и будучи невинной, но чувствующей за собой преступление? Что, если она (что могло быть известно только ей самой), увлеченная сладострастием юноши, сочувствовала ему, хотя он и употребил против нее насилие; и не прощая себя за это, сокрушалась до такой степени, что полагала возможным искупить свое преступление только смертью? Хотя и в этом случае она не должна была убивать себя, если бы могла с пользой приносить покаяние перед ложными богами. Но если это действительно так, и ложно то, что их было двое, но прелюбодействовал один, а напротив — совершили прелюбодеяние оба, один с употреблением явной силы, другая — с тайным соизволением: то она убила себя не невинную. В этом случае ученые защитники ее могут сказать, что она не находится в преисподней среди тех,

*Что невинными будучи,
Сами себя умертвили.*

Таким образом, дело сводится к тому, что отрицанием человекоубийства утверждается прелюбодеяние, а оправданием в прелюбодеянии возводится обвинение в человекоубийстве. Выхода решительно нет, коль скоро вопрос ставится так: “Если она прелюбодействовала, то за что ее

* Virg. Aeneid. VI, v. 434 — 436.

** Ibid. v. 438, 439.



валят; а если осталась целомудренной, то за что она убита?”

Но для нас при опровержении тех, которые, будучи чуждыми всякого помышления о святости, смеются над христианскими женщинами, потерпевшими в плену насилие, — для нас в примере этой благородной женщины достаточно и того, что так прекрасно сказано в ее похвалу: “Было их двое, но прелюбодействовал один”. Ведь именно так обычно представляют себе Лукрецию: что она не могла осквернить себя никаким соучастием в прелюбодеянии. А что она, и не совершив прелюбодеяния, убила себя за то, что сделалась орудием прелюбодеяния, в этом выразилась не любовь к целомудрию, а болезненное чувство стыдливости. Стыдно ей было, что над нею совершилось чужое непотребство, хотя и без ее участия; и римская женщина, до крайности жаждавшая доброго о себе мнения, побоялась, чтобы о ней не подумали, будто бы то, что она претерпела через насилие, она претерпела добровольно. И вот, не будучи в состоянии показать людям своей совести, она решила представить их глазам эту казнь, как свидетеля своих помыслов. Она краснела при мысли, что ее могут счесть сообщницей проступка, если она терпеливо снесет то, что сделал над нею другой.

Этого не сделали христианские женщины, которые, снеся подобное, продолжают жить. Они не наказали себя за чужое преступление, чтобы к чужим злодеяниям не добавить своих; а это так бы и было, если бы по той причине, что враги, отдавшись страсти, обесчестили их, они из стыда совершили бы над собою человекоубийство. У них есть внутренняя слава целомудрия, свидетельство совести. Они имеют ее пред лицом Бога своего и не ищут большего там, где нет большего, что они могли бы сделать по совести, — не ищут, чтобы ради избежания оскорблений со стороны людской подозрительности не уклониться от предписаний божественного закона.



Глава XX

В самом деле, не случайно же в священных канонических книгах нельзя найти божественного предписания или дозволения на то, чтобы мы причиняли смерть самим себе даже ради приобретения бессмертия или ради избежания и освобождения от зла. Когда закон говорит: “Не убивай”, надлежит понимать, что он воспрещает и самоубийство, ибо, сказав это, он не прибавляет “ближнего твоего”, подобно тому, как воспрещая ложное свидетельство, он говорит: “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего” (Исх. XX, 13, 16). Впрочем, и тот, кто дал ложное показание против самого себя, не должен считать себя свободным от этого преступления. Потому что правило любить ближнего любящий должен как бы примерять на себя, ибо написано: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф. XXII, 39). Если же тот, кто делает ложное показание о самом себе, виновен в лжесвидетельстве не меньше, чем если бы он дал его против ближнего (хотя в заповеди, возбраняющей ложное свидетельство, возбраняется ложное свидетельство именно против ближнего, и людям недостаточно рассудительным может показаться, что ею не воспрещается лжесвидетельствовать против самого себя), то насколько же очевиднее выражена мысль, что человеку непозволительно убивать самого себя, коль скоро в заповеди “не убивай”, к которой не сделано никакого дальнейшего добавления, никто не представляется исключением, даже и сам тот, кому это заповедуется?

Некоторые стараются распространить эту заповедь даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае, почему не распространять ее и на травы, и на все, что только питается и произрастает из земли? Ведь и этого рода предметы, хотя и не обладают чувствами, называются живыми, а потому могут умирать, — могут, следовательно, быть и убиты, коль скоро употребляется по отношению к ним насилие. Поэтому апостол, говоря о семенах их, пишет: “То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет” (I Кор. XV, 36). И в псалме написано: “Виноград их побил градом” (Пс. LXXVII, 47)*. Неужели



же, слыша заповедь “не убивай”, мы станем считать преступлением выкорчевывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев? Итак, если мы, отвергнув эти бредни, читая заповедь: “Не убивай”, согласимся, что в ней идет речь не о растениях, ибо ни одно из них не обладает чувствами, и не о неразумных животных, летающих, плавающих, ходящих или ползающих, ибо они не могут входить в общение с нами по разуму, который им не дано иметь наравне с нами, почему их жизнь и смерть, по правосуднейшему распоряжению Творца, служат к нашей пользе, то заповедь “не убивай” остается понимать в приложении к человеку: не убивай ни другого, ни самого себя. Ибо кто убивает себя, убивает именно человека.

Глава XXI

Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения из запрета убивать человека. Но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог, или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И поэтому заповеди “не убивай” отнюдь не преступают те, которые ведут войны по велению Божию или, будучи в силу Его законов, т. е. в силу самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев смертью. И Авраам не только не укоряется в жестокости, а напротив, восхваляется за благочестие потому, что хотел убить сына своего не как злодей, а повинувшись воле Божией (Быт. XXII). Справедливо также ставится вопрос, не следует ли считать божественным повелением то, что Иеффай убил вышедшую ему навстречу дочь, так как он дал обет принести в жертву Богу то, что первым выйдет ему навстречу из ворот дома его, когда

* В переводах, которыми пользовался Августин, написано: “Виноград их убил градом”.



Он будет возвращаться победителем с войны (Суд. XI). И Самсон оправдывается в том, что похоронил себя с гостями под развалинами дома именно потому, что сделать так повелел ему тайно Дух, который творил через него чудеса (Суд. XVI). Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого, или кого иного, становится повинным в человекоубийстве.

Глава XXII

И если совершившие это над самими собой могут порою вызывать удивление величию своего духа, то их никак нельзя при этом похвалить за благоразумие. Хотя, если всмотреться в дело внимательнее, окажется, что и величие духа не стоит усматривать в том, когда кто-либо убивает себя лишь потому, что не в состоянии перенести или какие-нибудь житейские трудности, или чужие грехи. В самом деле, если наиболее слабым считается тот ум, который бывает не в силах перенести или грубого рабства, коему подвергается его тело, или невежественного мнения толпы, то наиболее великим по справедливости должен быть назван тот дух, который в состоянии скорее вынести бедственную жизнь, чем бежать от нее, и который, пребывая в чистоте и безупречности совести, презирает людское мнение, в особенности же мнение толпы, как правило превратное. Поэтому, если бы величие духа можно было усмотреть в том, что человек причиняет смерть самому себе, то это величие прежде всего было бы видно в Клеомброте; говорят, что прочитав сочинение Платона, в коем рассуждается о бессмертии души, он бросился со стены и таким образом перешел из этой жизни в ту, которую счел лучшей. В самом деле, его не удручало ни что-либо бедственное, ни преступное, истинное или ложное, чего он не мог бы перенести и потому вынужден был себя умертвить; но в принятии им смерти и в разрушении сладких оков настоящей жизни проявилось только величие



го духа. Тем не менее, о том, что поступок его был скорее великим, чем добрым, свидетельствует сам Платон, которого он читал: вне всякого сомнения, Платон сам или поступил бы таким же образом, или, по крайней мере, предписал бы поступать так, если бы не придерживался того мнения, что с точки зрения ума, созерцающего бессмертные души, так делать не следует, и даже более того, следует воспрещать подобное.

Говорят, что многие-де умерщвляли себя, чтобы не попасть в руки врагов. Но мы рассуждаем не о том, почему это делалось, а о том, следует ли так делать. Ибо здравый разум предпочтительнее сотни примеров. Впрочем, с ним согласны и примеры, но только такие, которые куда более достойны подражания, ибо выше по благочестию. Не делали так ни патриархи, ни пророки, ни апостолы. И сам Христос, Господь наш, заповедуя апостолам в случае гонения на них в одном городе бежать в другой (Мф. X, 23), мог повелеть, чтобы они предавали себя смерти, дабы не попасть в руки преследователей. Но так как Он не заповедовал, чтобы таким образом переселялись к Нему из этой жизни те, коим Он обещал обители вечные (Иоан. XIV, 2), то какие бы примеры люди, не верующие в Бога, нам ни противопоставляли, ясно, что чтущим единого истинного Бога делать так непозволительно.

Глава XXIII

Впрочем, и им, кроме Лукреции, о которой, как кажется, выше мы сказали достаточно, нелегко указать на человека, авторитет которого предписывал бы (самоубийство), за исключением разве умертвившего себя в Утике Катона; это не потому, что он один поступил так, а потому, что считался человеком мудрым и добрым настолько, что были все основания думать: такой человек не мог поступить неправильно. Что прежде всего сказать о его поступке, как не то, что его друзья, среди которых было немало людей ученых, благоразумно уговаривали его не делать



того, считая его поступок проявлением духа скорее слабого, чем сильного, ибо он являл собою не столько утверждение чести, избегающей бесчестного, а слабость, не способную перенести несчастье. Это доказал и сам Катон на примере своего любимого сына. Ведь если было бесчестьем жить под властью победившего Цезаря, то зачем отец сделал соучастником этого бесчестия сына, внушив ему положиться во всем на благосклонность Цезаря? Почему он не принудил и его умереть вместе с собою?

Если Торкват поступил похвально, умертвив сына, который вопреки приказу сразился с неприятелем и даже победил его, то почему же побежденный Катон, не пощадив себя, пощадил побежденного сына? Ужели быть победителем, вопреки распоряжению, более бесчестно, чем терпеть победившего неприятеля? Таким образом, Катон отнюдь не считал бесчестным жить под властью победившего Цезаря; иначе он освободил бы своего сына от этого бесчестия отцовским мечем. Итак, что же значит его поступок, как не то, что насколько он любил сына, пощады которому он желал и ждал от Цезаря, настолько же завидовал славе самого Цезаря, опасаясь, чтобы тот не пощадил и его самого, как сказал об этом, говорят, сам Цезарь; или же (чтобы сказать более снисходительно) он стыдился этой славы.

Глава XXIV

Те, против кого направлена наша речь, не хотят, чтобы мы Катону предпочитали праведного мужа Иова, который счел лучшим смиренно терпеть столь ужасные страдания, чем разом избавиться от них, приняв насильственную смерть, или других святых, о которых говорят наши облеченные высшим авторитетом и заслуживающие абсолютного доверия священные книги, — которые мужественно сносили плен и владычество врагов и не кончали жизнь самоубийством. Из тех же мужей, которые описаны в их творениях, этому самому Марку Катону мы предпочитаем Марка Регула. Катон никогда не побеждал Цезаря,



которому не захотел покориться, и, чтобы не покориться, решил себя умертвить. Между тем Регул побеждал карфагенян, и римскому государству, как римский полководец, доставил победу не над согражданами, каковая победа заслуживала бы скорби, а над врагами его; но потом, побежденный ими, захотел лучше терпеть их, перенося рабство, нежели освободиться от них при помощи смерти. Поэтому, находясь под владычеством карфагенян, он сохранил терпение и неизменность своей любви к Риму, оставляя свое побежденное тело врагам, а непобедимый дух — гражданам. Если он не захотел умертвить себя, то сделал это не из любви к жизни. Это он доказал, когда ради исполнения данной им клятвы возвратился к тем же врагам, которым он гораздо более нанес вреда в сенате словами, нежели в сражении оружием. Итак, если этот до такой степени не дороживший жизнью человек предпочел лучше окончить ее среди свирепых врагов в каких угодно казнях, чем умертвить самого себя, то он, несомненно, считал самоубийство великим злодеянием.

Среди всех своих достохвальных и знаменитых мужей римляне не укажут лучшего, которого ни счастье не испортило, ибо при всех своих великих победах он остался человеком бедным, ни несчастье не сломило, ибо он бесстрашно пошел навстречу столь великим бедствиям. Если же самые знаменитые и мужественные защитники земного отечества и почитатели пускай и ложных богов, но почитатели неложные и верные блюстители своих клятв, имея право по обычаю войны убивать себя в случае поражения и при этом нисколько не боясь смерти, предпочитали лучше терпеть господство победителей, чем совершать самоубийство; то насколько же более должны воздерживаться от этого злодеяния христиане, чтущие истинного Бога и воздыхающие о небесном отечестве, если божественная воля, ради ли испытания, или исправления, подвергнет их временно власти врагов, — христиане, которых в этом уничтожении не оставит Тот, Кто, будучи Высочайшим, явился ради них в таком уничтожении, — которых притом никакие распоряжения военной власти или права войны не принуждают убивать даже и побеж-



енного врага? И так, какое пагубное заблуждение заставляет человека убивать себя только потому, что против него согрешил или не согрешил враг, когда самого этого врага, уже согрешившего или еще только собирающегося согрешить, он не смеет убивать?

Глава XXV

Но следует-де остерегаться и бояться, чтобы тело, сделавшееся предметом вражеского сладострастия, не вызвало в духе соизволения на грех, приманив его к этому прелестью удовольствия. Поэтому, говорят, человек должен убить себя прежде, чем кто-нибудь над ним это сделает: не по причине чужого греха, а чтобы не совершить собственный. Конечно, дух, более преданный Богу и мудрости Его, нежели телесным желаниям, никоим образом не позволит себе откликнуться на похоть своей плоти, возбужденной чужою похотью. Однако же, если очевидная истина полагает преступлением гнусным и злодеянием достойным осуждения, когда человек убивает самого себя, то кто будет настолько безумен, чтобы сказать: “Лучше согрешить теперь, дабы не согрешить после; лучше теперь совершить человекоубийство, чтобы потом не впасть, не приведи Господь, в прелюбодеяние”. Если же неправда царствует до такой степени, что приходится делать выбор не между невинностью и грехом, а между грехом и грехом, то и в этом случае возможное в будущем прелюбодеяние лучше, чем несомненное убийство в настоящем. Неужто же совершить такой грех, который может быть заглажен последующим покаянием, хуже, чем совершить такое злодеяние, после которого нет уже места спасительному покаянию?

Говорю это для тех мужчин и женщин, по мнению которых следует предавать себя насильственной смерти во избежание не чужого, а своего собственного греха, из опасения, как бы под влиянием похоти другого не предаться похоти собственной плоти. Впрочем, не думаю, чтобы христианский ум, который верует Господу своему и, воз-



ложив на Него свое упование, надеется на Его помощь, — не думаю, говорю, чтобы такой ум на удовольствия своей или чужой плоти откликнулся непотребным соизволением. А если то непослушание похоти, которое обитает в смертных членах, движется помимо закона нашей воли, как бы по своему собственному закону, то, будучи извинительным в теле спящего человека, не гораздо ли более извинительно оно в теле не откликающегося на него соизволением?

Глава XXVI

Но, говорят, многие святые женщины, избегая во время гонений преследователей своего целомудрия, бросались в реку с тем, чтобы она унесла их и потопила; и хотя они умирали таким образом, их мученичество, однако, весьма почитается католической церковью. Не осмеливаюсь судить об этом необдуманно. Веление ли то божественного авторитета, чтобы церковь чтит подобным образом их память, не знаю; может быть — и так. Что если женщины эти поступили таким образом не по ошибке, а во имя исполнения божественного повеления, не заблуждаясь, а повинясь, подобно тому, как должны мы думать о Самсоне? А когда велит Бог и не оставляет никаких сомнений относительно того, что Он велит, кто сочтет послушание — преступлением? Кто обвинит благочестивую покорность? Но отсюда не следует, что всякий, кто решился бы принести своего сына в жертву Богу, не совершил бы преступления только потому, что подобным образом поступил и Авраам. Ибо и солдат, когда убивает человека, повинясь поставленной над ним законной власти, не делается по законам своего государства повинным в убийстве; напротив, если бы он не сделал этого, был бы повинен в ослушании и пренебрежении власти. Но если бы он сделал это самовольно, то совершил бы преступление. Таким образом, в одном случае он будет наказан за то, что совершил это без приказа, в другом — за то, что не совершил того же, получив приказ совершить. А если



ывает так, когда приказывает полководец, то во сколько раз больше должно быть так, когда велит Творец?

Итак, кто слышит, что убивать себя непозволительно, пусть убивает, коль скоро ему повелел Тот, приказаний Которого нельзя не исполнять; пусть смотрит только, действительно ли имеет он на это несомненное божественное повеление. Мы судим о совести на основании того, что слышим; права судить о сокровенном совести на себя не берем. Никто не знает того, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем самом (I Кор. II, 11). Мы одно говорим, одно утверждаем, одно всячески доказываем: что самовольно никто не должен причинять себе смерти ни для избежания временной скорби, потому что иначе подвергается скорби вечной; ни из-за чужих грехов, потому что иначе, неоскверненный еще чужим грехом, он совершит собственный, причем самый тяжкий грех; ни из-за своих прежних грехов, ради которых настоящая жизнь особенно необходима, чтобы можно было утешивать их покаянием; ни из-за желанья лучшей жизни, приобрести которую надеется после смерти: потому что для виновных в собственной смерти нет лучшей жизни и после смерти.

Глава XXVII

Остается еще один повод, — о нем я уже сказал пару слов, — по которому считается полезным, чтобы каждый умерщвлял себя, а именно: опасение, как бы не впасть в грех под влиянием или обольстительного сладострастия, или лютой скорби. Но если допустить этот повод, то при дальнейшем рассуждении он приведет к тому, что людям следует советовать убивать себя в то время, когда они, будучи омыты банею возрождения, получают отпущение всех своих грехов. Именно тогда — самое время страшиться будущих грехов, ибо все прежние прощены. Если добровольная смерть — дело хорошее, то почему ей не случиться именно тогда? Зачем, в таком случае, продолжать жить крестившемуся? Зачем оправданному подвергать себя снова



стольким опасностям этой жизни, когда он имеет возможность избежать их путем самоубийства, тем более, что известно: любящий опасность подвергается ей (Сир. III, 23)? Зачем же любить, или, если не любить, то по крайней мере рисковать подвергнуться стольким и таким опасностям, продолжая эту жизнь, когда дозволительно прекратить ее? Или же бессмысленный разврат до такой степени испортил сердца и до такой степени лишил их чувства истины, что в ту пору, когда каждый должен был бы убить себя из опасения, как бы ему не впасть в грех, этот самый каждый, тем не менее, думает, что ему следует жить, чтобы переносить этот мир, полный ежечасных испытаний, без которых не проходит ни одна христианская жизнь? Итак, зачем же мы тратим время на увещания, посредством которых стараемся расположить крестившихся или к девственной чистоте, или к вдовствующему воздержанию, или даже к верности супружеского ложа, коль скоро у нас есть лучшие и устраняющие всякую опасность греха средства: ведь мы могли бы привести к Господу более чистыми и более здоровыми всех, кого только смогли бы убедить подвергнуть себя добровольной смерти вслед за только что полученным прощением грехов!

Но если бы кто-нибудь действительно полагал, что именно так и следует поступать, я назвал бы такого даже не глупым, а помешанным. Сколько, в самом деле, нужно бесстыдства, чтобы сказать человеку: “Умертви себя, чтобы, живя под властью распущенного варвара, не присоединить тебе к своим малым грехам грехов тягчайших”? Кто иначе, как только с самой преступной мыслью, может сказать: “Умертви себя, чтобы по разрешении всех твоих грехов ты не совершил таких же или еще худших, если останешься жить в мире, в котором обольщает столько нечистых удовольствий, неистовствует столько возмутительных жестокостей, бытует столько заблуждений и ужасов”? Если так сказать — преступно, то преступно, конечно, и убивать себя. Ибо, если бы могла быть какая-нибудь законная причина убивать себя добровольно, то, во всяком случае, она была бы не законнее той, которую мы сейчас разбираем.



то поелику эта последняя таковою не является, то, значит, никакой законной нету вообще.

Глава XXVIII

Итак, верные Христовы, пусть ваша жизнь не будет вам в тягость, если ваша непорочность подверглась поруганию врагов. Если совесть ваша чиста, вы имеете великое и истинное утешение в том, что у вас не было соизволения на грех тех, которым было попущено согрешить над вами. А если спросите, почему попущено, то знайте, что есть некое высшее провидение Творца и Промыслителя мира, и “непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его” (Рим. XI, 33). Тем не менее, спросите чистосердечно вашу душу, не слишком ли возгордились вы благом вашей чистоты, воздержания или целомудрия и, увлекшись человеческими похвалами, не позавидовали ли некоторым даже и в этом? Не обвиняю в том, чего не знаю, и не слышу, что на ваш вопрос отвечают вам сердца ваши. Однако, если бы они ответили, что это так, то не удивляйтесь, что вы утратили то, чем думали нравиться людям, и остались при том, чего людям показать нельзя. Если соизволения на грех у вас не было, в таком случае вам была ниспослана божественная помощь, чтобы вы не утратили божественной благодати; но вы подверглись человеческому поруганию, чтобы не любили человеческой славы. Утешьтесь, малодушные, и тем и другим: в одном испытанные, от другого очищенные; в том оправданные, в этом исправленные.

Те же из вас, сердца которых ответят, что они никогда не превозносились благом или девства, или вдовства, или супружеской верности, но “последовали смиренным” (Рим. XXII, 16); дару Божию радовались со страхом, не завидовали чьему-либо превосходству в той же чистоте и святости, но, презирая человеческую похвалу, обыкновенно тем более расточаемую, чем менее желают того, что заслуживает похвалы, — и те, которые таковы, если подверглись насилию варварского сладострастия, пусть не нарекают на



то, что так попущено; пусть не думают, что Бог не придает этому значения, если попускает такое, чего никто не делает безнаказанно.

Есть, так сказать, своего рода грузы злых вожделений, которые нынешним тайным божественным судом оставляются безнаказанными и откладываются до суда последнего, явного. Но весьма возможно, что такие, хорошо сознающие, что их сердца никогда надменно не превозносились благом чистоты, и тем не менее испытавшие на своей плоти враждебное насилие, имели некоторую тайную сладость, которая могла бы перейти в горделивое высокомерие, если бы они при опустошении Рима избежали этого унижения. И вот, как некоторые восхищаются смертью, дабы злоба не изменила ум их (Прем. IV, 11), так и у этих похищается нечто насилием, чтобы их смирения не изменило счастье. Таким образом, и те и другие, и уже гордившиеся, что не испытали ничьего постыдного прикосновения к своей плоти, и те, которые могли возгордиться, если бы не подверглись враждебному насилию, — и те и другие не чистоты лишились, а научились смирению; первые освободились от уже существовавшей гордости, последние — от гордости угрожавшей.

Впрочем, не следует обойти молчанием и того, что некоторым из потерпевших могло казаться, что благо воздержания — это благо телесное, и что оно остается только в том случае, если тело не испытывает прикосновения ничьей похоти, а не заключается единственно в силе воли, подкрепляемой божественной помощью так, чтобы святыми были вместе и тело, и дух, будучи при этом таким благом, которое может быть утрачено именно из-за вожделения духа. Возможно, что исправлено это заблуждение. Ибо, принимая во внимание чувство, с каким они служили Богу, несомненно при этом веруя, что Бог служащих Ему и призывающих Его с чистой совестью никогда не мог оставить, наконец, не сомневаясь относительно того, насколько угодна Ему чистота, они должны видеть и то, что отсюда следует, а именно: что Бог никогда не попустил бы случиться этому с Его святыми, если бы



вятость, которую Он сообщил им и которую Он любит в них, могла погибать подобным образом.

Глава XXIX

Итак, чада высочайшего и истинного Бога имеют свое утешение, — утешение неложное, состоящее в надежде не на предметы колеблющиеся и преходящие; саму земную жизнь, в которой они воспитываются для жизни небесной, отнюдь не находят они достойной сожаления, и благами земными пользуются, как странники, не пленяясь ими; злом же или испытываются, или исправляются. Те же, которые над их испытаниями смеются, и когда случается, что кто-либо из них подвергается каким-нибудь временным несчастьям, говорят такому: “Где Бог твой?” (Пс. XLI, 11), те пусть скажут сами, где их боги, когда они претерпевают такие же несчастья, ради избежания которых этих богов и почитают, или утверждают, что ради этого их следует почитать. Первые ответят: “Наш Бог присутствует везде и всюду целокупно и нигде и ни в чем не заключен; Он может тайно присутствовать и отсутствовать, не удалившись; когда Он подвергает нас несчастьям, то или заслуги испытывает, или грехи очищает, и при этом приуготовливает нам вечную награду за благочестиво перенесенные нами временные несчастья. А вы кто такие, чтобы с вами стоило говорить о ваших богах, а тем более о нашем Боге, который “страшен паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил” (Пс. XCV, 4, 5).

Глава XXX

Если бы жив был еще ваш знаменитый Сципион, бывший некогда первосвященником, которого выбрал весь сенат, когда искал самого достойного мужа для отправления фригийского культа* в ужасное время пунической войны,

* Имеется в виду культ Кибелы — Великой Матери.



оторому вы не посмели бы, пожалуй, взглянуть и в глаза, — он сам удержал бы вас от этого бесстыдства. Ибо почему, будучи угнетаемы несчастьями, жалуется вы на христианские времена, как не потому, что желали бы спокойно наслаждаться своею роскошью и предаваться распущенности развращенных нравов, не тревожась ничем неприятным? Ведь не для того же желаете вы сохранения мира и изобилия богатств всякого рода, чтобы этими благами пользоваться честно, т. е. скромно, трезво, умеренно и благочестиво, а для того, чтобы изведать бесконечное разнообразие наслаждений ценою безумной расточительности, из-за чего в нравах ваших среди благополучия возникло бы такое зло, которое было бы гораздо хуже самых свирепых врагов.

А Сципион тот, ваш великий первосвященник, муж, по мнению целого сената, самый достойный, страшась подобного рода бедствий не хотел, чтобы был разрушен Карфаген, тогдашний соперник римского государства, и возражал Катону, требовавшему его разрушения, ибо опасался беспечности, этого извечного врага слабых душ, полагая при этом, что страх так же необходим для граждан, как опекун для сирот. И мнение его оказалось верным: история показала, что он говорил правду. Ибо, когда Карфаген был разрушен, т. е. когда великая гроза римского государства была рассеяна и уничтожена, то за этим немедленно последовало столько возникших из благополучия зол, что сперва жестокими и кровавыми мятежами, потом сплетением несчастных обстоятельств и даже междоусобными войнами было произведено столько убийств, пролито столько крови, порождено столько жестокой жадности к конфискации имуществ и грабежам, что те самые римляне, которые страшились при неиспорченной жизни зла от врагов, с утратою этой неиспорченности потерпели от сограждан зло гораздо худшее. И сама та страсть господствовать, которая более других пороков человеческого рода присуща была всему римскому народу, одержав победу в лице немногих сильнейших, придавила игом рабства и остальных, изнемогих от усилий и изнурения.



Глава XXXI

Разве эта страсть успокаивалась когда-нибудь в душах в высшей степени гордых, пока непрерывным рядом почестей не достигала царской власти? Но этого непрерывного перехода к новым и новым почестям не существовало бы, если бы честолюбие не перевешивало всего. Честолюбие же перевешивает только в народе, испорченном сребролюбием и роскошью. А сребролюбивым и склонным к роскоши народ стал вследствие того благополучия, которое Сципион весьма предусмотрительно считал опасным, когда не хотел, чтобы разрушен был весьма обширный, укрепленный и богатый неприятельский город, дабы похоть обуздывалась страхом, и, обузданная, не развивала роскоши, и с устранением роскоши не являлось сребролюбия; при устранении этих пороков, процветала бы и возрастала полезная для государства добродетель и существовала бы сообразная с добродетелью свобода.

Исходя из той же предусмотрительной любви к отечеству, этот великий ваш первосвященник, единогласно избранный сенатом того времени, как наилучший из мужей, удержал сенат, когда тот хотел построить театральный партер, и своей строгой речью убедил не позволять греческой роскоши проникать в мужественные нравы отечества и не сочувствовать чужеземной распущенности, которая привела бы к расслаблению и упадку доблести римской. Авторитет его был настолько велик, что сенат, воодушевленный его словами, воспретил с тех пор даже ставить скамьи, которыми граждане начали было пользоваться в театре, внося их на время представлений. С каким бы усердием изгнал он из Рима и сами театральные зрелища, если бы осмелился воспротивиться тем, кого считал богами! Но он еще не понимал, что боги эти — демоны, или же, если и понимал, то думал, что их надобно скорее умилоствлять, чем презирать. В то время не было еще открыто язычникам небесное учение, которое, очищая сердце к исканию небесных и пренебесных предметов, изменило бы страстные движения человеческого чувства в



смирненное благочестие и освободило бы от господства гордых демонов.

Глава XXXII

Да, вы, еще не знающие или делающие вид, что не знаете, знайте, и ропщущие на Освободителя от таких господ, имейте в виду, что сценические игры, непотребные зрелища и суетные разгулы учреждены в Риме не благодаря порокам людей, а по велению ваших богов. Лучше бы вы воздавали божеские почести Сципиону, чем почитали подобного рода богов; ибо эти боги были куда хуже своего первосвященника. Если только ум ваш, так долго упивавшийся заблуждениями, может позволить вам понять что-нибудь здраво, обратите внимание на следующее. Боги, для прекращения телесной заразы, повелели давать им сценические игры; между тем как Сципион, для устранения заразы душевной, запрещал строить и саму сцену. Если у вас достанет здравого смысла предпочесть душу телу, то вы сами поймете, кого скорее следует почитать. Ведь и та телесная зараза прекратилась не потому, что в воинственный и привыкший только к цирковым играм народ проникло утонченное безумие сценических игр; но лукавство злых духов, предвидя, что эта зараза прекратится в определенный срок сама собою, постаралось по этому поводу напустить — и на этот раз уже не на тела, а на нравы — другую заразу, гораздо худшую, которою оно тешится более всего. Эта последняя ослепила бедные души таким мраком, довела их до такого безобразия, что (нашим потомкам это, пожалуй, покажется невероятным) в то время, как Рим был опустошен, те, которыми она овладела и которые, бежав из него, успели достигнуть Карфагена, ежедневно в театрах исступленно соперничали друг с другом в качестве комедиантов.



Глава XXXIII

Умы безумные! Что же это за такое, не заблуждение, а сумасбродство, что вы в то время, как восточные народы, как мы слышали, оплакивают ваше бедствие, и величайшие города отдаленнейших стран налагают на себя публичный траур, — вы заняты театрами, ходите в них и предаетесь гораздо большему безумию, чем прежде? Этой-то душевной язвы и заразы, этой-то потери в вас совести и чести и боялся Сципион, когда запрещал строить театры, когда думал, что благополучие легко может испортить и развратить вас, когда не хотел, чтобы вы были безопасны от врагов. Он не думал, что государство может быть счастливым, если его стены будут стоять, а нравы — падут. Но для вас гораздо большее значение имеет то, чем прельстили вас бесчестные демоны, нежели то, относительно чего предостерегали вас предусмотрительные люди. Поэтому зло, которое вы совершаете, вы не хотите ставить себе в вину, и зло, которое терпите, вы ставите в вину временам христианским. В безопасности вашей вы ищете не мира для государства, а безнаказанности для своей распущенности; будучи испорчены счастьем, вы не могли исправиться и бедствиями. Сципион хотел держать вас в страхе перед врагом, чтобы вы не предались распущенности; а вы, и сокрушенные врагом, не обуздали себя. Вам бедствие не принесло пользы; вы сделали и самими несчастными, и, в то же время, остались и самими дурными.

Глава XXXIV

И, однако, то, что вы живете, есть дело Божие. Это Он своею милостью убеждает вас, чтобы вы исправлялись через покаяние; это Он дал ее вам, неблагодарным, чтобы вы избежали неприятельских рук или под именем Его рабов, или в местах Его мучеников. Рассказывают, что Ромул и Рем, стараясь увеличить население закладываемого ими города, учредили убежище, дабы каждый, прибегавший туда, освобождался от всякого наказания. Но удивительный



Пример этого в честь Христа куда превосходней. Разрушители Рима учредили то, что прежде не было учреждено его строителями, ибо последние сделали это, чтобы увеличить число своих граждан, а первые — чтобы пощадить великое множество своих врагов.

Глава XXXV

Все это и подобное этому, если может отвечать пространнее и лучше, пусть отвечает своим врагам искупленная семья Господа Христа и странствующий град Царя Христа. Пусть только помнит она, что и среди врагов скрываются будущие граждане, и не считает бесполезным для них того, к чему они, пока не сделались исповедниками, относятся враждебно; так же точно и град Божий: доколе он странствует в этом мире, имеет врагов, соединенных с ним общением таинств, но не имеющих наследовать жребия святых; среди них есть враги тайные, а есть и явные; последние не колеблются даже роптать на Бога, которому клялись, наполняя вместе с другими врагами театры, а с нами — церкви. Но в исправлении и некоторых из них отнюдь не следует отчаиваться, коль скоро и среди самых отъявленных врагов скрываются подчас предопределенные друзья, еще неведомые даже для себя самих. Ибо эти два града переплетены и взаимно перемешаны в настоящем веке, пока не будут разделены на последнем суде. Об их происхождении, преуспении и конечных судьбах я постараюсь, с помощью Божией, сказать, что, по моему мнению, следует сказать, ради славы града Божия, которая при сравнении с тем, что ей противостоит, выступит в более ясном свете.

Глава XXXVI

Но мне нужно сказать еще нечто против тех, которые падение римского государства приписывают нашей религии, возбраняющей им приносить жертвы их богам. Прежде



Его следует им напомнить, как много можно было бы указать несчастий, которые римское государство и принадлежащие ему провинции перенесли прежде, чем были запрещены им их жертвоприношения: все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам, если бы наша религия была им известна уже тогда, или если бы она уже тогда возбуждала им их святотатственные священнодействия. Затем следует показать, за какие их нравы и по какой причине Бог, во власти Которого находятся все царства, благоволил содействовать увеличению их власти, и как те, которых они называют богами, ни в чем им не помогли, а, вернее, даже во многом им повредили, обольщая и обманывая. Наконец, будет сказано против тех, которые, будучи опровергнуты и обличены на основании самых очевидных документов, стараются утверждать, что богов должно почитать не в виду выгод настоящей жизни, а ради жизни, имеющей наступить после смерти.

Если не ошибаюсь, этот вопрос будет и гораздо труднее, и достойнее более возвышенного исследования, ибо придется говорить и против их философов, и не каких-нибудь, а таких, которые пользуются у них превосходнейшей славой и которые согласны с нами относительно многих пунктов, например, относительно бессмертия души и того, что Бог создал мир, и относительно Его провидения, которым Он управляет всем сотворенным. Но так как и их следует опровергнуть в том, в чем они держатся противоположных с нами воззрений, то мы не должны уклоняться и от этой обязанности, чтобы, отразив нечестивые возражения по мере сообщенных нам Богом сил, защитить град Божий, истинное благочестие и богопочтение, которое одно нележно обещает вечное блаженство. Итак, закончим на этом настоящую книгу, дабы то, о чем мы вознамерились говорить, изложить в следующей.



КНИГА ВТОРАЯ

Глава I

Если бы свойственное человеку слабое разумение не осмеливалось противиться очевидной истине, а подчиняло свою немощь спасительному учению, как врачеванию, пока не исцелит его божественная помощь, получаемая от благочестивой веры, то людям здравомыслящим и выражающим свои мнения с достаточной ясностью не было бы нужды тратить много слов для того, чтобы доказать ошибочность того или иного ложно составившегося представления. Но наиболее распространенная и отвратительная болезнь глупых душ в настоящее время состоит в том, что свои неразумные движения они защищают так, как будто они — сам разум и сама истина, даже если им кто-либо и представит вполне ясное доказательство их ошибочности, насколько таковое может быть представлено одним человеком другому, — защищают или по крайней слепоте, вследствие которой не видят очевидного, или по крайнему своему упрямству, вследствие которого не признают и того, что видят. Поэтому приходится говорить пространно и о самых очевидных вещах: не для того, чтобы представить их зрячим, а для того, чтобы дать их осязать ощупывающим и зажмурившимся.

Тем не менее, где был бы конец нашим рассуждениям и мера нашим словам, если бы мы думали, что на всякое возражение нужно давать новый ответ? Ибо те, которые или не могут понять того, что говорится, или настолько упрямы, что, хотя и понимают, согласиться не хотят, те, как написано, “изрыгают дерзкие речи” (Пс. ХСIII, 4) и лживы неутомимо. Если бы мы взялись опровергать их возражения всякий раз, как только они задаются упрямым намерением, не заботясь о том, что скажут, так или иначе противоречить нашим рассуждениям, то ты видишь сам, насколько бы это было делом и бесконечным, и тяжелым, и бесполезным. Поэтому я желал бы, чтобы ни сам ты, сын мой Марцеллин, ни другие, кому мой настоящий труд послужит к пользе и даст благородное занятие в



любви Христовой, не были такими судьями моего сочинения, которые желают получать все новые и новые ответы, слыша, что есть какое-либо возражение против того, что они читают; иначе будут они подобны тем женщинам, о которых упоминает апостол: “Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины” (II Тим. III, 7).

Глава II

Итак, в предыдущей книге, когда я начал говорить о граде Божием, которому, с помощью Божией, решил посвятить весь этот труд, я счел необходимым прежде всего дать ответ тем, которые войны, опустошающие наш мир, в особенности же недавний разгром Рима, приписывают христианской религии, возбраняющей служение мерзким демонам; между тем, они скорее должны были бы приписать Христу то, что варвары ради имени Его, вопреки правилам и обычаю войны, предоставили им для убежища священные и самые обширные места, и не только действительным рабам Христовым, но во многих случаях и самозванцам оказывали такое почтение, что и дозволенное по отношению к ним правом войны считали для себя непозволительным. Отсюда возник вопрос: почему таких божественных милостей удостоены были и люди нечестивые и неблагодарные и, наоборот, почему те жестокости, которые совершались неприятелем, обрушились не только на людей нечестивых, но и на благочестивых?

Над разрешением этого вопроса, коим задаются многие в виду того, что все вообще обыденное, как дары Божии, так и человеческие скорби, по большей части одинаково и безразлично выпадают и на долю людей добродетельных, и на долю порочных, я остановился несколько более, чем было нужно в интересах предпринятого труда; это было сделано главным образом ради утешения святых и благочестиво непорочных женщин, над которыми враги совершили нечто такое, что оскорбило их стыдливость, хотя и не отняло у них самого целомудрия: чтобы не тяготились



жизнью те, которые не имеют повода упрекать себя в непотребстве.

Потом я сказал несколько слов против тех, которые с бесстыдной наглостью позорят христиан, подвергшихся упомянутым несчастьям, в особенности же претерпевших насилие чистых и святых женщин; между тем как сами эти клеветники — люди в высшей степени непотребные и не заслуживающие никакого уважения, выродившиеся потомки тех римлян, чьи славные дела часто воспоминаются и прославляются историей. Они позорят славу своих предков, ибо этот Рим, основанный и возвеличенный трудами древних, они обезобразили гораздо более при его внешне благополучном существовании, чем обезобразило его разрушение; при разрушении его падали камни и бревна, а в их жизни, когда сердца их пылали пагубнейшими вожделениями, будто кровли города — огнем, пали всякие твердыни и украшения не стен, а нравов.

На этом я закончил первую книгу. Затем я предположил говорить о том, какие несчастья претерпел этот город с самого своего основания как у себя дома, так и в принадлежащих ему провинциях, — несчастья, которые были бы приписаны христианской религии, если бы уже и тогда гремело евангельское учение с его смелым свидетельством против их ложных и лживых богов.

Глава III

Не забудь, впрочем, что, говоря все это, я имел дело еще с людьми необразованными, невежество которых породило и известную расхожую поговорку: “нет дождя, причина — христиане”. Но есть между ними и люди образованные, любящие историю, из которой прекрасно знают все это, но притворяются незнающими, чтобы возбудить против нас враждебные толпы невежд. Они стараются распространить в народе мнение, что те бедствия, коим то там, то здесь время от времени подвергается род человеческий, случаются по вине христианской религии, которая назло их богам распространяется повсюду с такой



великой славою и с таким блеском. Пусть же они пересмотрят вместе с нами, каким частым и разнообразным бедствиям подвергалось римское государство, прежде чем Христос явился во плоти, прежде чем прославилось в народах имя Его, которому они завидуют; и пусть после этого защищают, если смогут, своих богов, коль скоро почитают их ради того, чтобы их последователи не претерпевали этих несчастий. Если они испытывают что-нибудь подобное теперь, то утверждают, что винить в этом следует нас. Так почему же эти боги допустили, чтобы с поклонниками их случилось то, о чем я намерен говорить, и в то время, когда проповедь о Христе еще не досаждала им и не возбуждала их жертвоприношений?

Глава IV

Во-первых, почему их боги не позаботились о том, чтобы их нравы не были до крайности развращенными? Бог истинный заслуженно оставил своим попечением тех, которые не чтили Его: но почему же те боги, на возбранение культа которых жалуются эти неблагодарные люди, не попечительствовали добродетельной жизни своих поклонников никакими законами? Справедливость требовала, чтобы как люди заботились так или иначе о культе своих богов, так и эти боги заботились о поведении людей. Но, говорят, каждый человек бывает дурен по собственной воле. Никто этого не отрицает. Тем не менее, делом богов-советников было не утаивать от чуждого их народа заповеди добродетельной жизни, а предлагать их в публичной проповеди, вразумляя и сдерживая грешащих через пророков, поступающим дурно грозя наказаниями, живущим же добродетельно обещаая награды. Разве когда-нибудь раздавался в их храмах сильный и всепокрывающий голос богов о чем-либо подобном?

Некогда, в дни юности, хаживали и мы на святотатственные зрелища, смотрели на беснующихся, слушали певцов, забавлялись гнуснейшими играми, которые давались в честь богов и богинь, в честь небесной девы и матери



всех Верекинфии*. Пред ложем этой последней, в праздник ее омовения, непотребными актерами публично распевалось такое, что не подобало бы слушать не только матери богов, но и матерям каких-нибудь сенаторов или вообще каких-нибудь честных мужей, даже матерям самих этих актеров. Есть в отношении к родителям некоторая человеческая стыдливость, которой не может истребить даже непотребство. Сами же актеры на домашних репетициях стыдились исполнять перед своими матерями это гнусное месиво из мерзких слов и действий; а публично, перед матерью богов, в присутствии многочисленного собрания людей обоего пола, исполняли. Если множество отовсюду собравшегося народа приходило, привлеченное любопытством, на эти действия, оно должно было бы немедля уйти в смущении, с оскорбленным чувством целомудрия. Что после этого назовем святотатством, если это — священнослужение, или что будет осквернением, если это — омовение? И это называлось феркулами, точно совершалось некое пиршество, на котором как бы питали нечестивых демонов их же пищей. Ибо кто не понимает, какого рода духи услаждаются подобными мерзостями? — разве что тот, кто или совсем не знает, что существуют некоторые нечестивые духи, обольщающие под именем богов, или же проводит такую жизнь, в которой ждет милости и страшится гнева этих духов более, чем милости и гнева истинного Бога.

Глава V

Судьею в этом деле я никоим образом не желал бы иметь кого-нибудь из тех, которые стараются скорее сами услаждаться безнравственностью позорнейшего обычая, чем бороться против нее, а хотел бы иметь в качестве такового того же Сципиона Назику, который был объявлен сенатом наилучшим из мужей и руками которого идол этого демона был принят и перевезен в Рим. Пусть он скажет нам, пожелал ли бы он, чтобы его мать оказала государству

* Т. е. Кибелы.



Какие великие заслуги, чтобы ей были установлены божеские почести подобно тому, как у греков, у римлян и у других народов установлены они некоторым смертным, благодаяния которых эти народы ценили весьма высоко и которых они считали сделавшимися бессмертными и принятыми в число богов? Без всякого сомнения, он пожелал бы своей матери такого счастья.

Затем, если бы мы его спросили, согласился ли бы он, чтобы в числе божеских почестей ей совершались и эти мерзости, то разве не воскликнул бы он, что желал бы лучше, чтобы мать его лежала мертвою без всякого чувства, чем жила богинею для того, чтобы иметь удовольствие слушать подобные вещи? Нет, этот римский сенатор, одаренный такой пронизательностью ума, что запретил строить театр в городе мужественного народа, не захотел бы, чтобы мать его почитали таким образом, чтобы для умилоствления богини совершались такие вещи, сама только речь о которых была бы оскорблением для благородной женщины. Он никогда бы не поверил, чтобы стыдливость достохвальной матроны через усвоение ею божественности до такой степени изменилась, что ее поклонники смогли бы призывать ее такими похвалами, от которых, если бы они были брошены в упрек какой-нибудь женщине, еще живущей среди людей, покраснели бы за нее и родственники, и муж, и дети, если бы не заткнули ушей и не ушли.

Такая мать богов, какою постыдился бы иметь матерью даже самый дурной человек, намереваясь овладеть римскими умами, требовала себе наилучшего мужа, — не такого, которого она сделала бы наилучшим научением лучшему, а такого, которого обольстила бы обманом (она похожа на ту, о которой написано: “Жена уловляет дорогую душу” (Притч. VI, 26)), — требовала для того, чтобы богато наделенный природными дарованиями дух, возвысившись этим как бы божественным свидетельством в собственных глазах и считая себя действительно наилучшим, не искал истинного благочестия и религии, без которой самые достохвальные дарования исчезают и приходят в упадок. Ибо с какою другой, как не с этой



коварной целью желала эта богиня себе наилучшего мужа, если в своем культе требовала таких вещей, каких наилучшие мужи, гнушаясь подобного, не допускают на своих пирах?

Глава VI

Поэтому-то эти божества и не заботились о жизни и нравах городов и народов, у которых почитались: безо всяких запрещений, которые внушали бы страх, они дозволяли им делаться худшими и терпеть большие и отвратительные убытки; убытки не в смысле имений и виноградников, не в деньгах и хозяйстве, не в тех, наконец, делах, которые находятся в подчинении ума, а в самой душе — правительнице тела. Но, может быть, они запрещали? В таком случае пусть нам покажут это яснее, пусть докажут. Пусть не шепчут нам на ухо о каких-то под видом якобы тайной религии передаваемых вещах, в которых излагается-де учение о добродетельной жизни и чистоте; пусть покажут нам или напомним, где те места, посвященные таким собраниям, где совершались бы не игры с бесстыдным пением и плясками гистрионов, где праздновались бы не фугалии*, дающие полный простор всякому непотребству (это поистине фугалии (изгнание), но фугалии стыдливости и чести), но такие, где народы слышали бы, что повелевают боги относительно умерения жадности, уничтожения жульничества, обуздания роскоши; где учились бы несчастные тому, чему советовал им учиться Персей, говоря:

*Учитесь, несчастные, корни вещей прозревайте:
Кто мы такие, зачем в этой жизни рождаемся;
Что за порядок повсюду; где, почему и какие
В жизненном беге стоят поворотные вехи;
Меру ищите во всем, что полезно вам
или желательно;
Что есть хорошего в деньгах, насколько к отчизне*

* Праздник, посвященный изгнанию царей.



и милым

*Щедрыми быть вам прилично; какими велел вам
Бог пребывать; каковы пред людьми обязательства*.*

Пусть скажут, в каких местах существовал у них обычай провозглашать такие заповеди богов-наставников, подобно тому, как указываем мы на церкви, установленные для этого повсюду, где распространена христианская вера.

Глава VII

Пожалуй, они напомнят нам о школах и рассуждениях философов. Но, во-первых, все это не римское, а греческое; а если оно потому и римское, что Греция сделалась римской провинцией, то все же это не заповеди богов, а откровения людей, которые, будучи одарены проницательнейшим умом, старались так или иначе путем умозаключений исследовать, что скрывалось в природе вещей, чего следует желать в здешней жизни и чего избегать, что в самих правилах умозаключения дается как прямой вывод, а в чем обнаруживается непоследовательность или даже противоречие. Некоторые из них, насколько пользовались божественной помощью, открыли нечто великое, но насколько встречали препятствие в человеческой немощи, впали в заблуждение. Божественное провидение вполне справедливо воспротивилось их гордости, чтобы в противоположность им указать начало пути к небесному в смирении. Но обо всем этом мы, буде на то воля истинного Господа Бога, порассуждаем и поговорим в другом месте.

Однако же, если философы отыскали нечто такое, что могло быть достаточным для добродетельной жизни и для приобретения блаженства, то не гораздо ли справедливее было бы установить божественные почести именно им? Не гораздо ли лучше и честнее в храме Платона читать его книги, чем в храмах демонов оскотлять галлов, дабы затем их, сделавшихся женоподобными, торжественно пос-

* Persius, Satyr. III.



вящать, сумасбродствующих заставляя истязать себя и совершать многое другое или жестокое, или постыдное, или постыдно-жестокое, или жестоко-постыдное, что совершается обыкновенно в храмах таких богов? Не гораздо ли полезнее было бы, для научения юношества справедливости, провозглашать публично законы богов, чем попусту хвалиться законами и установлениями предков? Ведь все почитатели таких богов, едва ими овладеет похоть, подправленная, как говорит Персей, жгучим ядом*, скорее смотрят на то, что делал Юпитер, чем на то, чему учил Платон или что думал Катон. Так, Теренций изобразил молодого повесу, который, увидев некую фреску, на которой было изображено, как Юпитер некогда обманул Данаю, пролив на лоно ее золотой дождь, тут же усмотрел здесь оправдание своему бесчестному делу, гордясь, что в этом отношении подражает богу:

*Великий бог, небесный храм сотрясший громом!
Ну, как не совершить мне то же, человеку малому**?*

Глава VIII

Но всему-де подобному учат не культы богов, а басни поэтов. Я не утверждаю, что принадлежности таинств постыднее принадлежностей зрелищ. Я утверждаю одно (и отрицающих это уличит история), что сами эти игры, главное содержание которых составляют вымыслы поэтов, не римляне из невежественной угодливости ввели в культ своих богов, а сами боги сурово потребовали и некоторым образом вымучили, чтобы эти игры проводились и посвящались в их честь. Я упомянул об этом еще в первой книге. Ибо с самого начала сценические игры в Риме были установлены по определению понтификов во время моровой язвы. Кто же после этого не придет к мысли, что в образе жизни своей он должен скорее следовать

* Persius, Satyr. III.

** Terent. in Eunucho, act. III, sc. 6.



тому, что представляется на зрелищах, установленных по божественному приговору, чем тому, что пишется в законах, учрежденных человеческой мудростью? Ведь если бы поэты лживо выставили Юпитера прелюбодеем, то непорочные боги должны были бы разгневаться и отомстить за то, что подобное оскорбление божеству измышлено человеческими играми, а не за то, что эти игры не проводятся. А между тем, таковы самые умеренные из сценических игр, т. е. комедии и трагедии, басни поэтов; написанные для представления на зрелищах, они хотя и весьма бесстыдны по содержанию, но не бесстыдны, по крайней мере, как многие другие, по изложению. Люди пожилые даже принуждают отроков читать и изучать их в числе тех наук, которые называются честными и свободными.

Глава IX

О том, что думали об этом древние римляне, свидетельствует Цицерон в книгах, написанных им о республике; там Сципион, рассуждая, говорит так: “Комедии никогда не могли бы показывать в театрах своих мерзостей, если бы не дозволяли того нравы”. Древнейшие греки на этот раз проводили даже с некоторой последовательностью свой испорченный образ мыслей: у них было дозволено законом говорить в комедии что угодно и о ком угодно, называя даже по имени. “И потому, — продолжает (Сципион) Африканский, — кого комедия не коснулась, кого не оскорбила, кого пощадила? Пусть бы она опозорила людей негодных, заискивавших перед народом, производивших мятежи в государстве: Клеона, Клеофонта, Гипербола. Мы примирились бы с этим, хотя было бы лучше, если бы и этого рода граждан клеймил позором цензор, а не поэт; но позорить в стихах Перикла, после того как он в продолжении многих лет держал в руках верховную власть в мирное и военное время, и разыгрывать их на сцене так же неприлично, как если бы наш Плавт или Невий вздумали бесславить Публия и Гнея Сципионов, или Цецилий — Марка Катона”. И несколько далее прибавляет:



Наши Двенадцать таблиц, напротив того, назначив уголовные наказания за весьма немногие преступления, к числу этих преступлений нашли справедливым отнести и то, если бы кто пропел или сочинил стихи, бесславящие или позорящие другого. И это прекрасно. Жизнь наша должна принадлежать суду магистратов и законному разбирательству, а не фантазии поэтов; и слышать о себе позорные вещи мы должны не иначе, как при условии, что можем отвечать и защищаться в судебном порядке”.

Я нашел нужным извлечь эти цитаты из четвертой книги Цицерона о республике, опустив и немножко изменив кое-что для большей ясности. Ибо это непосредственно относится к тому вопросу, который я взялся, насколько смогу, разъяснить. Он говорит далее и многое другое, и заканчивает это место тем, что древние римляне, по его словам, не позволяли никого из живущих ни восхвалять, ни порицать на сцене. Но греки, как я сказал, показывая в данном отношении хотя и меньше стыда, но больше последовательности, позволяли это, ибо полагали, что их богам угодны и приятны рассказываемые в сценических баснях вещи, позорящие не только людей, но и самих богов (вымышлены ли были эти вещи поэтами, или же в театрах воспоминались и представлялись действительные их распутства, — о если бы их поклонники находили все это достойным только смеха, а не подражания!). Ибо было бы крайней гордостью щадить доброе имя государственных властей и граждан там, где боги не желали щадить своей чести.

Глава X

Именно то, что приводится в оправдание: что, дескать, все, рассказываемое о богах, не истинно, а вымышленно и ложно, если это рассматривать с точки зрения религиозного благочестия, представляется еще более преступным, а если принять во внимание лукавство демонов, в высшей степени хитрым и рассчитанным на обольщение. Ведь если позорные вещи рассказываются о верховном правителе отечества, правителе добром и полезном, не тем



и более они отвратительны, чем более далеки от истины и чужды его жизни? Какие же наказания могут быть достаточными, если такого рода нечестие, если такое величайшее оскорбление дозволяется в отношении к Богу? Но злые духи, которых они считают богами, желают, чтобы о них рассказывались и такие постыдные вещи, которых они не делали, дабы представлениями такого рода опугивать, как сетями, умы человеческие, и приводить вместе с собою к предназначенному наказанию. Совершили ли эти постыдные вещи люди, которые считаются богами к удовольствию (демонов), радующихся человеческим заблуждениям, вместо которых посредством тысячи вредных и коварных уловок они выставляют для почитания самих себя, или преступления эти в действительности не были совершены никем из людей, — коварнейшие духи охотно допускают измышлять их о божествах, чтобы для совершения злодеяний и мерзостей был подан на землю как бы с самого неба ободряющий пример. Поэтому греки, считая себя рабами таких божеств, полагали, что поэты не должны шадить и их самих, коль скоро столько и так бесчестили в театрах богов. Они или желали через это уподобляться своим богам, или боялись возбудить их гнев, если бы вдруг их имя оказалось более честным и, таким образом, они стали бы лучше их.

Глава XI

Сообразно с этим, и разыгрывавших эти басни актеров они считали людьми достойными немалой гражданской чести. Так, — об этом упоминается и в книге о республике, — афинянин Эсхин, муж красноречивейший, управлял делами государства, хотя, будучи юношей, разыгрывал трагедии; равным образом Аристодема, тоже трагического актера, афиняне часто посылали послом к Филиппу по весьма важным делам, как мирным, так и военным. Действительно, если они видели, что само искусство и театральные игры были угодны богам, то смотреть на тех, которые их разыгрывают, как на людей бесславных, было



бы логически несообразно. Это было, конечно, постыдно для греков, но совершенно последовательно в отношении к их богам: они не отваживались защищать жизнь граждан от язвительного языка поэтов и гистрионов, коль скоро им было известно, что эти позорили и жизнь богов; и раз уж эти люди представляли в театрах такое, что, по их понятиям, приятно божествам, которым они были покорны, то и самих этих людей греки считали не только не заслуживающими ни малейшего презрения в государстве, но и достойными величайшей чести.

В самом деле, на каком бы основании они, почитая жрецов за то, что через них приносятся приятные богам жертвы, считали бы людьми презренными актеров, через которых они получили возможность, по указанию самих же богов, доставлять удовольствие и честь богам, которые того требовали и гневались, если этого не делалось? И это — в особенности после того, как Лабееон, которого считают великим знатоком в вещах подобного рода, отличил богов добрых и злых различным культом, ибо злые божества, как утверждал он, умилоствивляются-де кровавыми жертвами и скорбными молениями, а добрые — веселым и шутивным почитанием, например, играми, пиршествами и лектистерниями*.

Каково все это, об этом, даст Бог, подробнее скажем после. Что же касается настоящего предмета, то всем ли богам оказывается одинаковое почитание, как богам добрым (поелику богам неприлично быть злыми, хотя, вернее, все они — боги злые, так как они — нечистые духи), или же с известным различием: одним — одно, другим — другое, как этого требовал Лабееон, — во всяком случае греки поступали логично, считая одинаково достойными чести как жрецов, которые совершают жертвоприношения, так и актеров, которые исполняют театральные игры. Их нельзя упрекнуть в том, что они чинили обиды своим богам, — всем ли то, если игры и всем им приятны,

* Лектистерний — пир в честь того или иного божества, причем идол этого божества сажался вместе со всеми за стол.



ли, что было бы еще хуже, тем, которых считают добрыми, если игры любят только лишь эти последние.

Глава XII

Между тем римляне, — чем в том же сочинении о республике так гордится Сципион, — не желали, чтобы их жизнь и доброе имя подвергались порицанию и оскорблению со стороны поэтов, постановив законом подвергать уголовному наказанию того, кто осмелился бы сочинять стихи подобного содержания. Этим постановлением они выразили довольно уважительное мнение о самих себе, но по отношению к их богам оно высокомерно и неблагочестиво. Если они знали, что боги принимают оскорбления и злословия со стороны поэтов не только терпеливо, но и охотно, то, значит, они считали себя менее заслуживающими этих оскорблений, чем богов, и себя оградили от них законом, а оскорблениям богов дали место на священных празднествах. Неужели, Сципион, ты хвалишь римлян за то, что они воспретили поэтам свободу поражать насмешкой кого-либо из граждан, когда видишь, что с их стороны не было пощады никому из ваших богов? Неужели, по твоему мнению, больше следует уважать вашу курию, чем капитолий, один Рим, чем целое небо, так что граждане твои защищены от злословия поэтов законами, а твоих богов поэты спокойно осыпают оскорблениями: и ни один сенатор, ни один цензор, ни один сановник, ни один понтифик не воспрещает им этого! Плавту или Невию злословить Публия и Гнея Сципиона, или Цецилию — Марка Катона было неприлично, а вашему Теренцию подстрекать юношей к распутству описанием злодеяний всеблагого и верховного Юпитера — прилично?

Глава XIII

Но, будь Сципион жив, он, возможно, возразил бы мне так: “Каким образом мы стали бы преследовать



наказанием такое, что свяшенно по воле самих богов? Ибо театральные игры, в которых все это рассказывается и представляется, в римские нравы ввели сами боги и повелели, чтобы это посвящалось и совершалось в их честь”. Но почему же, в таком случае, римляне не поняли из этого, что эти боги — боги не истинные и совершенно не заслуживают того, чтобы республика воздавала им божеские почести? Ведь если бы они потребовали себе игр, позорящих самих римлян, их было бы неприлично и не следовало почитать: каким же образом, спрашиваю, их сочли достойными поклонения божествами, а не гнусными духами, если из желания ввести в обман они потребовали, чтобы под видом поклонения им прославлялись их злодеяния?

Нужно заметить, что римляне, хотя и были подвержены вредному суевию, состоявшему в почитании богов, требовавших, чтобы им посвящались театральные мерзости, тем не менее не забывали своего достоинства и чувства стыда: они не питали, подобно грекам, никакого уважения к сочинителям этих басен, но, как говорит у Цицерона тот же Сципион, “считая все сценическое и театральное искусство целиком позорным, постановили: этот род людей не только лишать чести, принадлежащей остальным гражданам, но даже исключать из триб по распоряжению цензора”. Мудрость замечательная и вполне заслуживающая быть отнесенной к римским достоинствам; но я желал бы, чтобы она была последовательна и верна самой себе. То правильно, что каждый, кто из римских граждан захотел бы быть актером, не только теряет всякое право на уважение, но к тому же по цензорскому распоряжению изгоняется из своей трибы. Это ты, ревнивый к гражданской чести, настоящий римский дух! Но пусть ответят мне, на каком основании актеры всецело лишаются чести, а театральные игры относятся к действиям, совершаемым в честь богов? Долгое время римская доблесть не знала театральных искусств. Если бы их ввели для услаждения человеческой похоти, они вредным образом подействовали бы на человеческие нравы. Это боги потребовали, чтобы они давались им. Каким же образом считается презренным



актер, через которого читается бог? На каком основании актер, разыгрывающий театральную мерзость, подвергается презрению, если потребовавший ее бог пользуется почитанием?

В отношении к этому предмету греки и римляне расходятся между собою. По мнению греков, они правильно уважают актеров, так как через актеров почитаются боги, изобретатели театральных игр; по мнению же римлян, актеры обесчестили бы даже плебейскую трибу, тем более сенаторскую курию. Сущность вопроса в этом разногласии разрешается следующим силлогизмом. Греки говорят: “Если следует почитать подобного рода богов, то должно уважать, конечно, и людей подобного рода”. Римляне прибавляют вторую посылку: “Но людей подобного рода уважать не должно”. Христиане же заключают: “Следовательно, не должно почитать и подобного рода богов”.

Глава XIV

Спросим далее, почему не считаются презренными, подобно актерам, и поэты, составители подобного рода басен, которым законом Двенадцати таблиц запрещено оскорблять доброе имя граждан, но которые, между тем, осыпают богов столь оскорбительными насмешками? На каком основании актеры, разыгрывающие измышления стихотворцев и изображающие позорных богов, считаются презренными, а сами авторы пользуются уважением? Не следует ли скорее отдать преимущество греческому Платону, который, изображая идеальное государство, полагал, что из него должны быть изгнаны поэты, как враги истины? С одной стороны, он с негодованием смотрел на оскорбления богов, с другой — не хотел, чтобы и дух граждан развращали и искажали вымыслами.

Сравни же теперь человечность Платона, изгоняющего поэтов из государства ради предупреждения развращения граждан, с божественностью богов, в честь себя требующих театральных игр. Платон своими рассуждениями, если не убедил, то, по крайней мере, посоветовал легкомысленным



распущенным нравственно грекам, чтобы произведения подобного рода даже и не писались; напротив, боги настоятельно потребовали от солидных и умеренных римлян, чтобы такие произведения разыгрывались и на сцене, и не только разыгрывались, но посвящались и торжественно исполнялись в их честь. Кому же, спрашивается, государство должно воздавать божеские почести с большей торжественностью — Платону ли, возбраняющему всякого рода мерзости и непотребства, или же демонам, находящим удовольствие в подобном обмане людей, которых Платон не смог убедить в истине? Лабеон полагал, что Платона следует считать полубогом, как Геркулеса и Ромула; полубогов же он ставил выше героев, хотя и тех и других относил к божествам. Но я думаю, что того, кого он называет полубогом, следует ставить выше не только героев, но и самих богов. С воззрениями Платона сходны и римские законы в том отношении, что Платон осуждает всякого рода поэтические вымыслы, а римские законы запрещают поэтам оскорбительно отзываться о людях; Платон изгоняет из государства поэтов, римские же законы лишают права гражданства актеров, разыгрывающих поэтические басни, и, пожалуй, изгнали бы их из государства совсем, если бы не боялись богов, требовавших себе театральных игр.

Итак, римляне не могли ни в коем случае получить или ждаты от богов законов, направленных к воспитанию нравов добрых и исправлению дурных, ибо сами превосходили их своими законами: боги требуют в честь себя театральных игр, а римляне устраняют актеров от всяких должностей, соединенных с честью; боги повелевают, чтобы позорные дела их прославлялись поэтическими вымыслами, а римляне не позволяют бесстыдству поэтов позорить и людей. Полубог же Платон восстает и против распутства подобных богов, и показывает, что должен был бы сделать врожденный римлянам здравый смысл: он решительно не допускает, чтобы в благоустроенном государстве жили поэты, которые или бессовестно лгут, или предлагают для подражания бедным людям отвратительнейшие дела так называемых богов. Мы не считаем Платона ни богом, ни



полубогом; не сравниваем его ни со святым ангелом всевышнего Бога, ни с истинным пророком, ни с кем-либо из апостолов, ни с каким-нибудь мучеником Христовым, ни с каким угодно христианином. Почему это так, мы, с помощью Божией, объясним в надлежащем месте.

Тем не менее, в виду того, что они сами почитают его полубогом, мы думаем, что его следует предпочитать если не Ромулу и Геркулесу (хотя никто из историков и поэтов не говорил о Платоне, что он убил брата или совершил какое-либо иное преступление), то, по крайней мере, Приапу, или некоему Кинокефалу, или, наконец, Лихорадке — божествам, которых римляне отчасти заимствовали со стороны, отчасти же обоготворили сами. Итак, каким бы образом стали устранять добрыми заповедями и законами угрожавшее душе и нравам страшное зло или заботиться об уничтожении укоренившегося уже зла такие боги, которые, напротив, сами старались сеять и умножать беззакония, желая, чтобы посредством театральных представлений народ узнавал о таких божественных делах, что непотребнейшая человеческая похоть возжигалась сама собою, как бы опираясь на божественный авторитет? Цицерон напрасно указывал на это, говоря о поэтах: “В то время, как доносится до них одобрительный крик народа, точно какого-то великого и мудрого учителя, какой напускают они мрак! Каких нагоняют страхов! Как разжигают они самые дурные страсти!”

Глава XV

Да и при самом избрании ложных богов, чем другим руководствовались они по преимуществу, как не лестью? Платона, которого считают полубогом, за столь многие исследования его, направленные к охранению нравов от повреждения духовным злом, которого особенно надлежит бояться, они не удостоили даже небольшого храма; а своего Ромула поставили выше многих богов, хотя, по тайной доктрине, и его считают скорее полубогом, чем богом. Ибо ему установили даже и фламينا, каковой род



жречества в культе римлян пользовался (как это показывает и шапка фламинов) таким превосходством, что фламинов было только три, установленных трем богам: фламин юпитеровский — Юпитеру, марсовский — Марсу и квиринальский — Ромулу (ибо последнего, как бы по благосклонности граждан принятого в число небесных богов, они потом назвали Квирином). Таким образом, он предпочтен был Нептуну и Плутону, братьям Юпитера, и даже Сатурну, их отцу, так что тот самый род жречества, который усвоился Юпитеру, усвоен был и ему, а Марсу, вероятно, уже благодаря Ромулу, отцом которого тот считался.

Глава XVI

Затем, если бы римляне могли получить от своих богов законы для жизни, то не заимствовали бы они, через несколько лет после основания Рима, у афинян законов Солона; и притом содержали эти законы не в том виде, в каком приняли, а старались улучшить и исправить. Хотя Ликург и похвалялся, будто законы для лакедемонян он составил по велению Аполлона, однако римляне благоразумно не поверили этому и приняли законы не оттуда. Рассказывают, что преемник Ромула, Нума Помпилий, издал некоторые, хотя и решительно недостаточные для управления государством, законы, которыми установил многие священнослужения; но никто же не говорит, что эти законы он получил от богов. Таким образом, боги римлян нисколько не заботились о том, чтобы отвратить от своих поклонников душевное зло, зло жизни и нравов, которое так велико, что их ученейшие мужи утверждают, что от него погибают республики и при целостности городов; а, напротив, всячески старались, чтобы, как о том было сказано выше, это зло еще более увеличивалось.



Глава XVII

Но, быть может, боги не предписывали римскому народу законов потому, что у него, как говорит Саллюстий, “чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам”*. Полагаю, что под влиянием именно этого чувства правды и добра были похищены сабинянки... В самом деле, что может быть справедливее и лучше, чем похищение силой чужих дочерей, заманенных в ловушку под предлогом зрелища? Ибо если несправедливо поступили сабиняне, не захотев выдать замуж дочерей, которых у них просили, то во сколько раз несправедливее было похитить тех, которых не выдали? Было бы справедливее воевать с народом, который не хотел выдавать соседям своих дочерей, когда их о том просили, чем воевать с народом, который требовал возвращения похищенных женщин. Было бы лучше, если бы Марс помог своему сыну отомстить вооруженной рукою за нанесенную обиду, и таким образом предоставил бы ему возможность получить женщин, которых он искал. В таком случае он, пожалуй, по некоторому праву войны, справедливо отнял бы тех, в которых ему было отказано несправедливо; но он не имел никаких оснований и прав в мирное время похищать девиц и вести несправедливую войну с их справедливо разгневанными родителями. Последующее было полезнее и удачнее: хотя в память об этом обмане установлено было цирковое зрелище, однако сам поступок не был поставлен в пример для подражания ни народом, ни правительством; и римляне, зачислив Ромула после этой несправедливости в число богов, сделали более легкую ошибку, чем если бы дозволили подражать ему в похищении женщин каким-либо законом или обычаем.

Под влиянием, далее, этого самого чувства правды и добра, по изгнании с детьми царя Тарквиния, сын которого совершил насилие над Лукрецией, консул Юний Брут принудил отказаться от должности и выслал из государства Тарквиния Коллатина, мужа Лукреции, своего товарища,

* Sallust. de Catilinae conjurat.



человека доброго и невинного, за то лишь одно, что тот носил имя Тарквиниев и приходился им родственником. Это злодейство Брут совершил с согласия или по допущению народа, от которого Коллатин, как и сам Брут, получил консульство.

Под влиянием этого же чувства правды и добра достойно обошлись и с Марком Камиллом: этот благородный человек, после десятилетней войны с жесточайшими врагами римского народа вейетами, — войны, в продолжение которой несчастные сражения истощили римское войско до крайности и сам Рим уже отчаялся и опасался за свое будущее, — одержал над этими врагами победу и овладел их богатейшим городом; но из-за завистников, порицавших его доблести, и бесстыдства народных трибунов, он был отдан под суд и освобожденное им государство нашел до такой степени неблагодарным, что, уверенный в своем осуждении, добровольно удалился в ссылку и в отсутствии был присужден к штрафу в десять тысяч ассов. И подобным образом поступили с человеком, который вскоре после этого отомстил за неблагодарное отечество галлам! Не хочется даже вспоминать о тех бесчисленных мерзостях и несправедливостях, которые волновали римское государство в то время, когда сильные старались подчинить себе народ, а народ не хотел им подчиниться, и когда защитники той и другой стороны старались лишь о победе, нисколько не заботясь при этом о правде и добре.

Глава XVIII

Итак, не буду говорить от себя и обращусь к свидетельству Саллюстия. Хотя вышеприведенные слова: “чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам” Саллюстий высказал в похвалу римлян, относя эту похвалу собственно к тому времени, когда, по изгнании царей, республика за короткий период достигла невероятно высокого расцвета; тем не менее, в самом начале первой же книги своей истории Саллюстий признается, что через самый малый промежуток времени,



После того, как республикой вместо царей начали управлять консулы, в Риме начались притеснения со стороны сильнейших, а в результате этого, распри народа с патрициями и всевозможные волнения. Ибо, упомянув, что римский народ в период времени между второй и последней пуническими войнами отличался превосходными нравами и величайшим согласием, и сказав, что причиною этого была не любовь к правде, а страх, который порождало сознание ненадежности мира при существовании Карфагена (почему Сципион, заботясь об устранении распущенности и сохранении этих превосходных нравов, и не хотел разрушать Карфаген, дабы пороки обуздывались страхом), Саллюстий продолжает так: “Но после разрушения Карфагена усилились раздоры, возросло корыстолюбие, честолюбие и другие виды зла, являющиеся обыкновенно среди благополучия”. Этим он дает понять, что все это имело место и прежде.

Далее, поясняя, почему он так сказал, Саллюстий говорит: “Ибо уже с самого начала явились обиды со стороны сильнейших и, вследствие того, раздоры плебеев с патрициями и другие домашние несогласия; справедливость и беспристрастность соблюдались лишь дотоле, пока, по изгнании царей, боялись Тарквиния, и пока не окончилась жестокая война с Этрурией”. Заметь, что и за тот короткий промежуток времени, когда, по изгнании царей, соблюдались справедливость и беспристрастность, причиной этого, по словам Саллюстия, был страх: потому что римляне боялись войны, которую изгнанный из государства и лишенный престола Тарквиний вел против них в союзе с этрусками. Теперь послушай, что говорит Саллюстий далее: “Потом патриции начали поработать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью, лишать его полей и управлять государством одни, с устранением от участия в том остальных. Выведенные из терпения этими жестокостями и особенно долгами, когда непрерывные войны требовали и податей, и отправления военной службы, вооруженный народ удалился на священный авентинский холм и там выбрал себе народных трибунов и учредил другие права. Конец этим



аздорам и усобицам положила вторая пуническая война”. Видишь, когда, т. е. спустя совсем немного времени после изгнания царей, и какими стали римляне, о которых Саллюстий говорит, что у них “чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам”!

Если такими оказываются те времена, когда римская республика, как говорят, была в превосходнейшем и наилучшем состоянии, то что же должны мы говорить и думать о последующем времени, когда она, выражаясь словами того же историка, “мало помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной”, именно — о времени после разрушения Карфагена? В каких словах изображает и описывает эти времена Саллюстий, на какие виды нравственного зла, явившиеся среди благополучия, указывает он, как на причину, породившую даже междоусобные войны, — об этом можно прочесть в его истории. “С этого времени, — говорит он, — нравы предков ухудшались не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой-то лавиной: молодежь развратилась до такой степени роскошью и корыстолюбием, что появились люди, которые не могли ни сами иметь хозяйства, ни терпеть, чтобы его имели другие”. Затем Саллюстий весьма много говорит о пороках Суллы и других мерзостях времен республики; говорят об этом и другие писатели, хотя далеко не с таким красноречием.

Теперь, полагаю, ты видишь (да и всякий, кто обратит на это внимание, поймет весьма легко), в какую глубокую пропасть нравственного развращения повергнуто было римское государство до пришествия всевышнего нашего Царя. Ибо все это происходило не только до того, как Христос начал учить, явившись во плоти, но и прежде, чем Он родился от Девы. Итак, если столь великое зло, раньше еще терпимое, а по разрушении Карфагена нестерпимое и ужасное, они не осмеливаются приписывать своим богам, с злоехидной хитростью укоренявшим в человеческие умы верования, из которых произросли такого рода пороки, то почему же настоящее зло они приписывают Христу, Который своим спасительнейшим учением воспрещает почи-



вание ложных и лживых богов и, осуждая с божественною властью вредные и мерзкие человеческие страсти, от тлеющего и во зле лежащего мира мало помалу восхищает Свою семью и создает из нее вечный и по суду истины, а не по суетному одобрению, славнейший град?

Глава XIX

Итак, римская республика “мало помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной” (это не я говорю, а гораздо раньше пришествия Христа говорили так их авторы, которые научили нас тому за деньги). Так, раньше пришествия Христа, вскоре после разрушения Карфагена “нравы предков ухудшались не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой-то лавиной: молодежь развратилась... роскошью и корыстолюбием”. Пусть прочтут нам предписания против роскоши и корыстолюбия, данные римскому народу его богами. О, если бы они только скрывали от него требования чистоты и умеренности, но нет: они еще и навязывали ему предписания позорные и бесчестные, сообщая им пагубный авторитет своею мнимой божественностью! Пусть прочтут теперь наши столь многие предписания против роскоши и корыстолюбия, преподанные и пророками, и святыми евангелиями, и деяниями апостольскими, и посланиями, — предписания, которые так чудно и так божественно гремят и раздаются повсюду, где только собираются для этого чтения народы, и слышатся они не как из философских пререканий, а как бы из облаков и оракулов Божиих. И, однако же, того, что их республика вследствие роскоши и корыстолюбия, вследствие грубых и гнусных нравов еще раньше пришествия Христа сделалась самою развращенною и распущенною, они не приписывают своим богам; а всякое неблагополучие ее в настоящее время, коль скоро оно затрагивает их гордость и изнеженность, ставят в вину христианской религии!



Между тем, если бы предписываемых этой религией заповедей одинаково слушались и старались их исполнять “все цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки” (Пс. CXLVIII, 11, 12), каждый пол и возраст и даже мытари и воины, о которых упоминает Иоанн Креститель (Лук. III, 12 — 14): подобное государство и в настоящей жизни даровало бы счастье своим подданным, и в будущем блаженнейшем царстве вечной жизни заняло бы наивысшее место. Но поелику эти заповеди один слушает, а другой презирает, и большая часть людей любит более пороки с их соблазнами, чем добродетель с ее полезной суровостью, то слугам Христа, цари ли они, или князья, судьи или воины, жители ли провинций, богатые или бедные, свободные или рабы, того или другого пола, повелевается терпеть, коль скоро это необходимо, даже и самую развращенную и распущенную республику, и этим терпением приготавливать себе светлейшее место в святейшем и священном сенате ангельском и в небесном царстве, где законом служит воля Божия.

Глава XX

Но эти почитатели и поклонники богов, с удовольствием подражающие им в злодеяниях и непотребствах, нисколько не беспокоятся, что их республика — самая развращенная и распущенная. “Лишь бы, — говорят они, — она процветала, наполняясь богатствами и прославляясь победами, или, что еще лучше, наслаждалась миром. Чего еще нам желать? Все, что мы хотим, это чтобы все богатели, чтобы всегда хватало и на житейские нужды, и на порабощение слабых. Пусть бедные служат богатым, получая за это на пропитание, а последние пусть проводят жизнь в праздности и неге. Пусть народы рукоплещут не тем, кто дает им добрые советы, а тем, кто доставляет им разного рода удовольствия. Пусть трудное не предписывается, нечистое не запрещается. Цари пусть заботятся не о том, чтобы подданные их были добры, а о том, чтобы были покорны. Провинции пусть служат царям не как



люстителям нравов, а как обладателям наибольших утех, не чтут их сердечно, а рабски боятся. Пусть законы следят, чтобы не вредили чужим виноградникам, а не собственной жизни. К суду пусть привлекают только тех, которые вредят чужому имуществу или здоровью, но если на то нет ничего несогласия, пусть делают, что хотят. Пусть множатся лупанарии, дабы никому из любителей блуда не было отказа. Пусть строятся обширнейшие поместья, задаются пышные пиры; пусть днем и ночью устраиваются игры до полного пресыщения, попойки до рвоты. Пусть наполняются театры, пусть разыгрываются в них любые, даже самые скотские зрелища. И пусть того считают врагом общества, кому не нравится такого рода благополучие; пусть не слушают таких, пусть гонят с глаз долой, стирают с лица земли. Пусть почитаются те боги, которые предписывают все эти удовольствия, пусть требуют они каких угодно игр, пусть предоставляется им все, что они пожелают, лишь бы только эта счастливая жизнь никогда и ничем не омрачалась: ни страхом перед неприятелем, ни какой-либо заразой, ни чем бы то ни было еще”.

Какой здравомыслящий человек не сравнит подобную республику, не скажу с римской империей, а с домом Сарданапала, который, будучи некогда царем, был до такой степени предан удовольствиям, что на своей гробнице приказал сделать надпись, что теперь он, мертвый, имеет только то, что при жизни расточило его сладострастие? Если бы у них был такой снисходительный ко всякой распущенности царь, они посвятили бы ему храм и фламينا охотней, чем древние римляне — Ромулу.

Глава XXI

Но если они не желают слушать тех, кто называет римскую республику самой развращенной и позорной, нисколько не заботясь о том, какой язве нравственной распущенности она подвержена и какому бесчестью, а лишь о том, чтобы она оставалась целой и могущественной, то пусть они послушают не Саллюстия, а Цицерона, во



времена которого она уже совершенно погибла. Цицерон вводит в свои рассуждения Сципиона, того самого, который разрушил Карфаген, вкладывая в его уста мысли о республике, в то время как Цицерону уже было очевидно, что республика вот-вот рухнет из-за той ее порочности, о которой говорил Саллюстий. Ибо Цицерон приступил к своей работе тогда, когда один из Гракхов, с которого, по Саллюстию, начались сильнейшие возмущения, был уже убит.

В конце второй книги Сципион говорит о том, что как при игре на различных инструментах, равно как и при пении, должно соблюдаться определенное соотношение между высокими, средними и низкими звуками и интервалами между ними, из чего образуется их гармоническое сочетание и определенный строй, так же и из разумного сочетания разных слоев населения, их прав и обязанностей составляется гражданское общество; и то, что у музыкантов называется гармонией, то в государстве — согласием, которое суть прочное и наилучшее во всякой республике основание для благополучия и справедливости. Затем Сципион подробно останавливается на том, сколь полезна для государства справедливость и сколь пагубно ее отсутствие. В это время в разговор вступает некто Фил, требуя, чтобы была рассмотрена сама справедливость, ибо существует мнение, что республикой нельзя управлять без некоторой толики неправды. На это Сципион отвечает, что ни сказанное им о республике ранее, ни то, что он еще намеревается сказать, не имеет никакого смысла, если не признать истинности той мысли, что хорошо управлять республикой — значит управлять справедливо. На этом вторая книга заканчивается, и продолжение диспута изложено уже в третьей книге.

Фил берется защищать мнение сторонников неправды, заранее предупредив, что сам это мнение не разделяет. Его оппонентом, по просьбе собравшихся, выступает Лелий. Когда обе стороны обстоятельно исследуют все аргументы сторон, Сципион возвращается к своей прерванной речи, предлагая принять то определение республики, по которому она — народное дело. Народом же он называет не некую



олпу, а совокупность людей, объединенных согласием в смысле определения прав и взаимной пользы. Затем, показав, какую пользу в состязаниях имеют определения, он, на основе своих определений, выводит, что республика, т. е. народное дело, существует тогда, когда управляется справедливо, хотя формы управления могут быть разными, а именно: царской, аристократической или всенародной. Если же царь несправедлив (такого царя он называет на греческий манер “тираном”), или несправедливы вельможи (их соглашение он называет “заговор”), или, наконец, несправедлив сам народ (тут он не находит подобающего названия, предлагая считать “тираном” народ), то, как следует из предложенных ранее определений, республику даже нельзя назвать несправедливой: она попросту исчезает. Действительно, она уже никоим образом не может считаться народным делом, если власть в ней злоумышленно захвачена тираном или заговорщиками, и если даже тираном выступает сам народ, то и тут он перестает быть сообществом людей, объединенных согласием, т. е. он перестает быть народом.

Итак, если республика была такой, какой ее описывает Саллюстий, то она была уже не самой развращенной и распущенной из всех республик, а просто не была уже республикой. Так утверждает и сам Туллий (Цицерон), причем уже не от лица Сципиона, а от своего собственного. В начале пятой книги, процитировав стих Энния:

*Римлян республика древними нравами держится,
Доблестью славных мужей,*

он говорит: “Этот стих по своей краткости и истинности напоминает мне изречение оракула. Ибо ни мужи, если бы не было государства с такими нравами, ни нравы, если бы не управляли государством такие мужи, не могли бы ни основать, ни так долго сохранять столь обширной и столь правосудно повелевающей республики. Итак, как отеческие нравы рождали славных мужей, так и славные мужи поддерживали древние нравы и установления предков. Наш же век, унаследовав прекрасную, но несколько как



бы полинявшую и выцветшую республику, не постарался хотя бы сохранить то, что получил. Ибо что ныне осталось от тех древних нравов? Их не только не придерживаются, но даже и вовсе о них позабыли. О мужах же и говорить нечего, ибо и нравы погибли из-за недостатка мужей. За все это мы не только должны дать строгий отчет, но и предстать перед судом, как уголовные преступники. Именно вследствие наших пороков мы сохраняем нашу республику лишь на словах, на деле же давно ее потеряли”.

Так говорит Цицерон, говорит много позже смерти Сципиона, которого выводит состязаемся в своей книге, но все же еще до пришествия Христа. Но если бы все они даже жили во времена христианские, кто из них вздумал бы обвинять в этом упадке христиан? Почему же их боги не позаботились о сохранении республики, которую так горько оплакивает Цицерон еще задолго до воплощения Христова? Тот же, кто хвалит ее такой, какой она была в древние времена, также может, присмотревшись, увидеть, что была она и тогда не столько живою нравственно, сколько просто разукрашенной и принаряженной. Это, всячески ее превознося, неосознано отметил и сам Цицерон. Но мы поговорим об этом в другом месте. Тогда, на основании кратких определений самого Цицерона о том, что такое республика и что такое народ (им ли высказанных, или тех, которые он вложил в уста своих героев), я постараюсь показать, что римская республика никогда не была республикой, ибо там никогда не было справедливости. По более же точным определениям она все же была в своем роде республикой, управляясь древними куда лучше, чем нынешними. Но истинной справедливости нет нигде, кроме той республики, Основатель и Правитель которой — Христос, если эту последнюю угодно будет называть республикой, так как нельзя отрицать, что она — народное дело. Но поскольку в нашем случае это название может показаться несколько необычным, то скажем так: истинная справедливость существует только в том граде, о котором Писание говорит: “Славное возвещается о тебе, град Божий” (Пс. LXXXVI, 6).



Глава XXII

Что же касается настоящего вопроса, то как бы ни хвалили древнюю республику их авторы, все они признают, что задолго до пришествия Христа она стала самую распущенною и развращенною; или что даже ее не стало вовсе, ибо она погибла от испорченных нравов. Тем более ее боги-хранители должны бы были позаботиться о том, чтобы дать предписания о нравах и образе жизни этому народу, воздвигнувшему в их честь столько храмов, назначившему столько жрецов, приносившему столько жертв и установившему столько празднеств и пышных игр. Но эти демоны заботились только о себе, почитателей же своих всячески развращали. Если же дело обстояло иначе, то пусть объявят нам их добрые предписания, пусть прочтут те божественные законы, которые преступили Гракхи, сея вокруг беспорядок и произвол, которые, далее, нарушили Марий, Цинна и Карбон, развязавшие междоусобные войны, ведшиеся с неслыханной жестокостью, которыми, наконец, пренебрег Сулла, жизнь, деяния и нравы которого, описанные Саллюстием и многими другими историками, наводят на всех ужас. Кому не ясно, что республика погибла еще в те времена?

Но, возможно, в защиту своих богов они осмелятся сослаться на то место у Вергилия, в котором говорится, что по причине падения нравов граждан

*Храмы оставивши и алтари, удалились
Боги, которыми царство держалось*?*

Но если это так, то, во-первых, нет никаких оснований жаловаться на христианскую религию, что, дескать, боги удалились, ибо были оскорблены ею, поскольку прогнали их, многочисленных и мелких, как мухи, испорченные нравы предков. Однако, тут следует спросить, где были эти боги тогда, когда нравы еще не были испорчены, а между тем Рим был захвачен и сожжен галлами? Или они

* Virg. Aeneid. II, v. 351, 352.



присутствовали, но проспали? Ибо в то время, как город уже был взят неприятелем, у римлян остался лишь капитолийский холм, да и он бы погиб, если бы тогда, когда спали боги, заснули бы и гуси. Установив же праздник в честь гусей, римляне в своей суеверии уподобились египтянам, чтившим зверей и птиц. Впрочем, обо всех этих не касающихся души телесных невзгодах я пока что говорить не намерен. Теперь наша речь — об упадке нравов, сокрушившем республику в то время, когда стены ее городов были еще крепки. Боги же, пожалуй, имели бы право оставить храмы и удалиться, если бы граждане нарушили данные им этими богами предписания о добродетельной жизни и справедливости. Но в нашем случае уместно спросить, каковы были эти боги, которые не захотели жить с почитавшим их народом, которого они, когда он начал жить порочно, не научили жить добродетельно?

Глава XXIII

Ну, а что если они даже содействовали удовлетворению их страстей, вместо того, чтобы их обуздывать? Ибо кто помог Марию, этому выскочке-плебею, кровожадному зачинщику и виновнику междоусобных войн? Кто помог ему семь раз быть консулом, умереть стариком во время седьмого консульства и не попасть в руки Суллы, в конце концов оказавшегося победителем? Если же во всем этом боги ему не помогали, то из этого следует весьма любопытный вывод: человек, даже когда боги к нему неблагосклонны, вполне может достигнуть желанного ему, столь великого временного благополучия; и люди, подобные Марию, могут, несмотря на гнев богов, наслаждаться здоровьем, силой, богатством, почестями и долголетием; напротив, люди, подобные Регулу, несмотря на любовь к ним богов, могут томиться и умирать в плену, в рабстве, в нищете, в бессонице и тяжких муках. Если они согласятся, что это так, то вынуждены будут также признать, что пользы от их богов нет никакой и почитаются они напрасно.



В самом деле, если по отношению к душевным добродетелям и доброй жизни, награды за которые следует ожидать после смерти, боги распорядились так, чтобы народ учился скорее противоположному; если, далее, и в отношении преходящих, временных благ они или нисколько не вредят тем, кого ненавидят, или ничем не помогают тем, кого любят, то в чем тогда смысл почитания этих богов? Зачем обращаться к ним с таким усердием? Зачем во время трудностей и лихолетья роптать на то, что они удалились, и из-за этого самым недостойным образом поносить христианство? Если же в области этих благ они способны делать добро или зло, то почему тогда Марию, человеку необычайно дурному, они покровительствовали, а наидостойнейшему Регулу такового покровительства не оказали? Или этим они хотели показать, что сами в высшей степени несправедливы и злы? Но если допустить, что именно вследствие этого их следует бояться и почитать, то на проверку окажется, что и это не так. Ибо Регул почитал их не менее, чем Марий. Но и из того, что Марию они покровительствовали более, чем Регулу, также не следует, что нужно предпочитать жизнь самую дурную. Ибо Метелл, самый достохвальный из римлян, имевший пятерых сыновей консулами, был счастлив во временных благах; а Катилина, человек самый порочный, удрученный бедностью и в своей злодейской войне потерпевший поражение, напротив, был несчастен. Истинным же и прочным счастьем наслаждаются добродетельные почитатели Бога, Который один только может даровать его.

Итак, когда Римская республика погибала от развращения нравов, боги не сделали ничего для их исправления и улучшения, дабы спасти ее от гибели; напротив, они всячески содействовали развращению и ухудшению нравов, чтобы она погибла. Пусть же они не прикидываются добрыми в том смысле, что якобы они удалились, оскорбленные порочностью граждан. Нет, они были на месте; присутствие их вполне обнаруживается: хотя они не пришли на помощь с наставлениями, но и не смогли скрыть себя молчанием. Не говорю о том, как Марий был отведен в рошу, посвященную богине Марике, и был поручен ее



покровительству сжалившимися минтурнинцами, и как, счастливо избежав грозившей ему опасности, этот подлый человек повел на Рим свое свирепое войско. Насколько кровава, насколько бесчеловечна, насколько лютее любой неприятельской была его победа, пусть, кто интересуется, прочтет об этом у историков. Я, как сказал, обхожу это молчанием, и кровавое счастье Мария приписываю не какой-то Марике, а таинственному провидению Божию, которое пожелало заградить их уста и освободить от заблуждений тех, кто может беспристрастно и благоразумно исследовать подобные явления. Ибо, если демоны и имеют некоторую силу в области подобных предметов, то лишь настолько, насколько позволяет им это сокровенная воля Всемогущего, дабы мы не превозносились земным счастьем, которое весьма часто предоставляется и людям злым, подобным Марию; но в то же время и не считали само это счастье чем-нибудь злым, видя, что им, наперекор демонам, пользуются и многие благочестивые и добродетельные почитатели единого Бога; и не думали, что ради этих земных благ или зол следует умиловать или бояться нечистых духов. Как злые люди, так и злые духи могут делать не все, что хотят, а лишь то, что им попускается распоряжением Того, судеб Которого никто не может ни постигнуть, ни справедливо укорить.

Глава XXIV

Времена Суллы были таковы, что заставили всех с тоской вспоминать времена предшествовавшие, за которые он являлся мстителем. А между тем, по свидетельству Ливия, когда Сулла готовился к первому походу на Рим против Мария, он получил при жертвоприношении такие счастливые предзнаменования, что гаруспик Постумий, исследовавший внутренности жертвенных животных, предложил взять себя под стражу и казнить в том случае, если замыслы Суллы не осуществляются при столь явном содействии богов. Итак, боги не удалились, покинув храмы и алтари, если предсказывали Сулле о благополучном



сходе его дела, но не постарались при этом исправить его самого. Обещали они ему великое счастье, но ничем не пытались при этом обуздать его злые страсти. Затем, когда Сулла вел в Азии войну с Митридатом, Юпитер через Люция Тиция велел сообщить ему, что он одержит долгожданную победу, что и случилось. После же, когда Сулла собирался возвратиться в Рим и отомстить за причиненные ему обиды, обильно пролив при этом кровь сограждан, тот же Юпитер через некоего солдата шестого легиона вновь обещал ему победу и власть. Когда Сулла расспросил, как выглядел тот, кто явился солдату, выяснилось, что это был тот же самый, что являлся и Люцию и предсказывал победу над Митридатом. Опять же спрашивается: почему боги спешили сообщать о таких якобы благополучиях, ничем при этом не содействуя исправлению самого Суллы, который своими злодейскими междоусобными войнами причинил столько зла, не только осквернившего, но и совершенно уничтожившего республику? Поистине, то были демоны, как я уже не раз говорил и о чем ясно свидетельствуют божественные Писания, и сами дела их явствуют, что единственной их целью было добиться того, чтобы их почитали как богов и совершали в их честь такие вещи, за которые совершавшие их вместе с ними получили бы одинаковое наказание на суде Божием.

Потом, когда Сулла прибыл в Тарент и приносил там жертву, он увидел в верхней части телячьей печени подобие золотой короны. Тот же гаруспик Постумий сказал, что это предзнаменование предвещает Сулле славную победу и велел ему одному съесть все внутренности. Немного спустя, раб какого-то Люция Понтия прокричал в пророческом исступлении: “Я иду вестником от Беллоны; Сулла, победа твоя!” Затем он прибавил, что Капитолий сгорит. Капитолий, действительно, сгорел. Конечно, демону не составляло труда предусмотреть это и тотчас возвестить. Но обрати внимание на то, под властью каких богов хотелось бы жить тем, которые хулят Спасителя, избавляющего верных от владычества демонов. Человек прокричал: “Сулла, победа твоя”, и чтобы поверили, что он кричит по внушению божественного духа, возвестил и



нечто такое, что должно было вскоре совершиться и действительно совершилось. Но, однако же, он не прокричал: “Сулла, удержишься от злодеяний”, от тех ужасных злодеяний, которые, одержав победу, совершил тот, кому в телячьей печени привиделась золотая корона.

Если бы подобные знаки подавали правосудные боги, а не нечестивые демоны, они скорее бы указали на какое-нибудь гнусное и вредное для самого Суллы будущее зло. Ибо победа эта не столько возвысила его достоинство, сколько погубила; она была причиной того, что возгордившись и предавшись удовлетворению своих неумеренных желаний, он в большей степени нравственно погиб сам, чем телесно уничтожил своих врагов. Об этих поистине печальных и плачевных вещах их боги не возвещали ни во внутренностях жертвенных животных, ни через авгуров, ни во сне или пророчестве. Ибо они больше боялись того, как бы он не исправился, нежели того, как бы он не остался побежденным. Они даже нарочито старались, чтобы, став торжествующим победителем сограждан, но побежденный и плененный непотребными пороками, он через это еще более рабски подчинился нечистым демонам.

Глава XXV

Кто не поймет, кто не усмотрит (кроме того, конечно, кто предпочитает подражать именно таким богам вместо того, чтобы постараться с помощью благодати Божией устраниваться от общения с ними), до какой степени эти лукавые духи стараются своим примером дать как бы божественные полномочия на совершение злодейств, когда на одной обширной равнине Кампании, где вскоре после описанных событий разгорелась жестокая битва гражданской войны, они еще прежде сражения сами вступили в битву друг с другом? Сперва на том месте был слышен страшный гул, а затем, как рассказывали многие очевидцы, в течение нескольких дней там как бы сражались два войска. А когда сражение прекратилось, там остались следы множества людей и лошадей. Итак, если божества дейст-



ительно сражались между собою, то этим они как бы вполне извиняли и оправдывали гражданские войны.

Но заслуживает внимания коварство и ничтожность таких богов. Представляясь сражающимися, они делали это лишь для того, чтобы римляне, ведя междоусобную войну, не казались сами себе совершающими преступление. Ибо гражданские войны тогда уже начались и произошло уже несколько святотатственных кровопролитий в достойных проклятия битвах. Многие были потрясены и ужаснулись, когда один воин, обирая труп убитого им врага, обнаружил, что это был его брат, и тогда он, прокляв гражданские войны, тут же умертвил себя. И вот, чтобы подобное зло впредь не вызывало отвращения, а напротив того, жажда к злодейским кровопролитиям час от часу все сильнее разгоралась, демоны, которых они почитали и которым поклонялись, как богам, решили явиться людям в виде как бы сражающихся друг с другом, дабы человеческое злодейство находило извинение себе в этом якобы божественном примере. С таким же лукавством некогда злые духи повелели ввести в состав религиозных действий и посвятить им гнусные игры, — о чем я говорил уже выше, — игры, в которых подобные злодеяния богов прославлялись театральными песнями и драматическими действиями, так что всякий, независимо от того, верил ли он, или нет, что боги совершали подобные злодеяния, видел, однако же, что они желали, чтобы им показывали такие вещи и, таким образом, как бы их одобряли. А чтобы кто-нибудь не подумал, будто поэты, упоминая о том, что боги сражались друг с другом, скорее возводили на них хулу, чем приписывали им нечто достойное, они с целью обольщения подтвердили сказания, представив глазам людей свои битвы не только на сцене, но и самолично в открытом поле.

Мы вынуждены были указать на это, ибо их же собственные писатели отнюдь не стеснялись говорить, что Римская республика вследствие крайне испорченных нравов граждан погибла еще прежде и не сохранилась до пришествия Господа Иисуса Христа. Эту гибель ее они не ставят в вину своим богам, а зло преходящее, от которого



добрые, живут ли они, или умирают, погибнуть не могут, они ставят в вину нашему Христу! Между тем, Христос дал многочисленные заповеди в пользу наилучших нравов и против разврата, а их боги никакими заповедями чтившему их народу не сделали ничего, что могло бы предотвратить гибель республики; более того, своим примером они усугубляли порчу, содействуя этой гибели. Думаю, никто не осмелится утверждать, что она погибла в то время потому, что

*Храмы оставивши и алтари, удалились
Боги,*

как друзья-де добродетелей, оскорбленные людскими пороками. Что боги были налицо, это доказывается множеством бывших тогда предзнаменований во внутренностях животных, в полете птиц, в прорицаниях, в которых они с великим удовольствием выставляли себя предузнающими будущее и помощниками в сраженьях. Не будь всего этого, собственные страсти римлян не возбудили бы последних к гражданским войнам до такой степени, как демонские подстрекательства.

Глава XXVI

Если это так, если явно выставлялись безобразия, соединенные с жестокостью, позорные дела и преступления божеств, действительные или вымышленные, выставлялись по их же требованию и под угрозой гнева в случае невыполнения этого требования, — даже в определенные ими и установленные дни праздников, посвященных им; если все это совершалось для ведома и на глазах всех, как предлагаемое для подражания: то какое значение имело при этом то, что эти же самые демоны, выдававшие себя во всем этом, как нечистых духов, — какое значение имело то, что те же самые демоны внутри своих святилищ и в недоступных для народа тайниках давали некоторые добрые наставления относительно нравов какому-либо из



освященных им лиц, как бы людям избранным? Если все происходило именно так, то это еще более свидетельствует об их коварстве. Ибо сила добра и нравственной чистоты такова, что все или почти все люди относятся к ней с уважением и мало кто доходит до такой степени нравственной испорченности, чтобы потерять всякое чувство благопристойности. Поэтому коварство демонов преуспевает в обмане не иначе, как если они прикидываются время от времени ангелами света (II Кор. XI, 14), как о том мы знаем из своих Писаний.

И вот, вне храмов торжественно и громко народам проповедуется грязное нечестие, а внутри притворно нашептывается немногим чистота; для срама отводятся публичные места, для похвальных дел — укромные тайники; приличие скрыто, безобразие открыто; что делается дурного, делается для всех, что говорится доброго, говорится для немногих: этим как бы дается понять, что честного следует стыдиться, а бесчестным — хвалиться. Где такое возможно, как не в храмах демонов? Где, как не в пристанище лжи? И одно делается для того, чтобы обольстить честнейших, которых немного, а другое — для того, чтобы большинство бесчестных не исправилось.

Где и когда служители Целесты слышали заповеди о чистоте, мы того не знаем. Но перед самим капищем, где водружен этот идол, мы, стекаясь из разных мест, могли наблюдать совершавшиеся игры, и, переводя взор, видели в одном месте торжество распутства, в другом — богиню-девственницу; ее коленапреклоненно чтили, и перед нею же совершали непотребство. При этом мы не встречали там ни сколько-нибудь застенчивого мима, ни хоть немного скромной актрисы: все положенные непристойности исполнялись с заслуживающей лучшего применения тщательностью. Таким образом, как бы давалось понять, чего хотело девственное божество и что вразумленная этим матрона должна была вынести с собою домой из храма! Некоторые, более застенчивые, отворачивали лица от гадких телодвижений, представлявших на сцене, украдкой изучая искусство бесстыдства. Стыдясь окружающих, они не осмеливались прямо смотреть на совершаемое похабство, однако



и не осуждали культ той, которую почитали своим чистым сердцем. В храме открыто преподавалось то, что в домах совершалось тайно, приводя в крайнее смущение тем, что людям было запрещено явно удовлетворять свои бесстыдные желания, которым они должны были с благоговением учиться у богов, причем они знали, что боги разгневаются, если все это не будет выставлено напоказ. Какой иной дух, как не самый нечистый, возбуждает порочные помыслы, подстрекает к прелюбодеяниям и находит удовольствие в подобных религиозных установлениях, водружая в храмах образы демонов, в играх же выводя образы пороков? Втайне он нашептывает о справедливости, чтобы обольстить немногих добрых, а открыто расставляет силки распутства, чтобы держать в своей власти многих дурных.

Глава XXVII

Муж добрый, хотя и плохой философ, Туллий, будучи эдилем, жаловался согражданам, что в числе других обязанностей он должен умиловать играми богиню Флору*; а эти игры, следует заметить, совершались с чем большею надобностью, тем и с большим бесстыдством. В другом месте он, будучи уже консулом, говорит, что при крайне опасных для государства обстоятельствах игры проводились в течение десяти дней и не было забыто ничего, что относилось к умилованию богов**: как-будто не полезнее было разозлить таких богов воздержанностью, чем умиловать неумеренностью; вызвать вражду благоприсойностью, чем смягчить таким безобразием! Мечь их меньше повредила бы людям, чем та испорченность нравов, которую вызывали и поддерживали эти игры. Чтобы отвратить то, чем враг угрожал телам, милость богов привлекалась такими средствами, которыми уничтожалась добродетель в душах. Такое умилование подобных божеств, полное необузданности, мерзостей, бесстыдства,

* Cic., in Verr. VI.

** Id., in Catil. III.



селепостей и нечистоты, исполнителей которого врожденное римлянам чувство доблести лишило прав на почетные должности, удалило из триб и признало позорными и бесчестными, — такое, говорю, срамное и противное истинному религиозному чувству умиловивление подобных божеств, — эти соблазнительные и непотребные басни о преступлениях, подлостях, злодействах и гнусных помыслах богов, — все это глазами и ушами публично изучало целое государство; видело, что все это нравится богам, и потому верило, что именно это — пример для подражания, а отнюдь не то, что говорилось (если оно вообще говорилось) немногим и столь секретно.

Глава XXVIII

И они еще жалуются, что имя Христово освободило людей от тартарского ига этих нечистых властей и преступного сообщества с ними, и от этой ночи губительного нечестия привело к свету спасительного благочестия! И ропщут, несправедливые и неблагодарные, на то, что народы стекаются в церкви, где слушают, как хорошо они должны проводить эту временную жизнь, чтобы заслужить после нее блаженную и вечную, где с возвышенного места и открыто для всех провозглашается священное Писание и учение о справедливости, которое те, кто его исполняет, слушают с пользой, а кто не исполняет — в осуждение. Если и появляются там насмешники над подобными заповедями, их дерзость или исчезает вследствие неожиданной в них перемены, или подавляется страхом или стыдом. Ничего дурного или постыдно им не предлагается для созерцания и подражания там, где внушаются заповеди истинного Бога, где повествуется о чудесах Его, где восхваляются Его дары или испрашиваются милости.



Глава XXIX

Обратись же к этому, столь богато одаренный природой римский народ, потомство Регулов, Сцевол, Сципионов, Фабрициев! Обратись и предпочти это гнусной пустоте и коварному зложелательству демонов. Если даровано тебе природой что-либо прекрасное, оно очистится и усовершенствуется посредством истинного благочестия; нечестие же его погубит, навлечет на него наказание. Так выбирай же теперь, чему следовать, чтобы слава твоя имела опору не в тебе самом, а в истинном Боге. Тебе была некогда присуща такая слава, но истинной религии у тебя не было. Пробудись, ибо настал день; пробудись, как пробудились уже лучшие из твоих сынов, чьи доблесть, страдания и даже смерть за истинную веру приобрели нам настоящее отечество. В это отечество мы зовем и тебя, и убеждаем присоединиться к числу его граждан. Не слушай своих вырожденцев, отвлекающих тебя от Христа и жалующихся на якобы дурные времена: они желают таких времен, которые не столько обеспечивали бы спокойствие жизни, сколько безопасность их распутства. Но ты ведь сам никогда не одобрял этого и в земном своем отечестве. Теперь же овладевай небесным, потрудись для него, и будешь царствовать в нем истинно и вечно. Там уже не очаг Весты, не камень Капитолия, а единый и истинный Бог “не укажет границ власти, не положит предела времени, но даст господство без конца”*.

Не ищи более своих ложных и лживых богов, брось их и иди к нам, дабы обрести истинную свободу. Они не боги, а злые духи, для которых твое вечное блаженство — казнь. Не столько Юнона завидовала троянцам, от которых ты выводил свое плотское происхождение, сколько эти демоны, которых ты считаешь богами, завидуют всему роду человеческому в его вечных обителях. Ты и сам осудил их, когда, умиловляя их играми, совершавших эти игры отнес к разряду бесчестных. Докажи же свою свободу от этих бесчестных духов, наложивших на тебя

* Virg. Aeneid. I, v. 278, 279.



обязанность посвящать им и праздновать их позорные дела. Прекрасно, что ты по собственному усмотрению не захотел признать гражданских прав за гистрионами и лицедеями; отрезви свою мысль еще более: божественное величие никоим образом не может умиловивляться такими искусствами, которые оскорбляют человеческое достоинство. Каким же образом ты можешь думать, что в числе небесных Властей могут быть подобные боги? Вышний град, где победа — истина, где достоинство — святость, где мир — блаженство, где жизнь — вечность, несравненно знатнее тебя. Тем более он не может иметь в своей среде таких богов, если ты постыдился иметь у себя таких граждан. Поэтому, если хочешь достигнуть блаженного града, избегай сообщества демонов. Позорно честным людям почитать тех, которые умиловивляются людьми бесчестными. Пусть христианское очищение так же удалит их от твоего благочестия, как отстранила от тебя последних цензорская отметка.

О благах же телесных, которыми одними желают уладиться дурные люди, и о зле телесном, которого одного не желали бы они терпеть: о том, что и в отношении этого демоны не имеют той власти, которая им приписывается (хоть, впрочем, если бы они ее и имели, мы должны были бы скорее презирать все это, чем ради этого почитать их, и, почитая, лишаться возможности достигнуть того, в чем они нам завидуют) — об этом мы поговорим после, чтобы сейчас закончить настоящую книгу.



КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава I

Думаю, что относительно зла нравственного и духовного, которого особенно следует остерегаться, мною сказано уже достаточно: ложные боги нисколько не старались помочь почитавшему их народу освободиться от массы зол этого рода, но, напротив, заботились о том, чтобы масса эта давила его как можно более. Теперь нахожу нужным сказать о тех бедствиях, которых они ни при каких обстоятельствах не желают терпеть, каковые суть: голод, болезни, войны, потеря имущества, плен, насильственная смерть и другие того же рода, о которых мы вскользь упомянули в первой книге. Ибо только эти бедствия, которые не делают людей злыми, злые единственно и считают злом; и при наличии тех благ, которые они полагают благами, сами они не стыдятся оставаться злыми; более того, они скорее бывают недовольны плохой дачей, чем дурною жизнью. Как-будто величайшее благо для человека состоит в том, чтобы иметь все хорошее, за исключением себя самого! Но и от этого рода зол, которых они единственно страшатся, не охранили их боги в то время, когда были открыто почитаемы ими.

Когда в разные времена и в различных местах до пришествия нашего Искупителя род человеческий стирался с лица земли бесчисленными и иногда даже невероятными бедствиями, разве других, а не этих богов чтит мир, за исключением одного народа, еврейского, и некоторых отдельных лиц вне этого народа, которых божественная благодать и таинственный и справедливый суд Божий находил где-либо того достойными? Чтобы не заходить слишком далеко, умолчу даже о наиболее тяжких бедствиях других народов. Буду говорить лишь о том, что касается Рима и Римской империи, т. е. о том, что претерпел до пришествия Христова собственно сам город и те области, которые были соединены с ним в качестве союзных или покоренных силой оружия и входили как бы в тело его республики.



Глава II

Во-первых, из-за чего была побеждена, взята и разрушена греками сама Троя, или Илион, откуда выводит свое происхождение римский народ, — Троя, имевшая и чтившая тех же самых богов (на нахожу возможным обойти молчанием то, чего коснулся уже в первой книге)? Говорят, что Приам понес наказание за клятвопреступление своего отца Лаомедонта*. В таком случае верно то, что Аполлон и Нептун служили у того самого Лаомедонта по найму. Ибо рассказывают, что он обещал им щедро оплатить их работу и обманул. Удивляюсь, каким образом Аполлон, названный предсказателем, столько работал, не зная, что Лаомедонт откажется исполнить обещанное. Впрочем, и самому Нептуну, дяде его, брату Юпитера и царю морей, не к лицу было не знать будущего. Ведь представляет же его Гомер предсказывающим нечто великое относительно поколения Энея, потомками которого построен Рим, хотя поэт жил, как говорят, до основания Рима**; Нептун даже уносит в облаке этого Энея, чтобы, как сам же говорит, он не был убит Ахиллом, в то время как Нептун желал ниспровергнуть построенные его же руками стены клятвопреступной Трои. Об этом рассказывается у Вергилия***.

Итак, такие боги, как Нептун и Аполлон, вольно или невольно строили троянские стены, не зная, что Лаомедонт откажется заплатить им. Пусть же вникнут, не более ли тяжкий грех веровать в таких богов, чем нарушить клятву, данную таким богам? Сам Гомер не особенно верил последнему: потому что, представляя Нептуна сражающимся против троянцев, он Аполлона выводит сражающимся за троянцев; хотя басня рассказывает, что они оба были оскорблены клятвопреступлением. Итак, если они этим басням верят, пусть стыдятся иметь таких богов; а если не верят, пусть не ссылаются на троянское клятвопреступление; или пусть объяснят ту странность, что боги

* Virg. Georg. I.

** Hom. II. II.

*** Virg. Aeneid. V, v. 810, 811.



Троянские клятвопреступления наказывали, а римские — любили. Ибо откуда бы иначе заговор Катилины приобрел в таком обширном и столь развращенном городе такую массу сторонников, “руки и язык которых питали клятвопреступлением и кровью сограждан”*. А столько сенаторов, судивших не по совести, а весь народ на выборах и в других делах, которые решались на его собраниях, чем другим они согрешили, как не клятвопреступлением? При крайнем развращении нравов древний обычай клятвы сохранялся не для того, чтобы удерживать от злодейства страхом религии, а для того, чтобы к другим злодействам прибавлять и клятвопреступления.

Глава III

Итак, если боги, которыми, как говорят, держалось то государство, оказываются побежденными более сильными греками, то нет причины представлять их разгневанными клятвопреступлением троянцев. Не рассердило их и до такой степени, что они могли оставить Троя, и прелюбодеяние Париса, как стараются нам представить некоторые их защитники. Ибо они привыкли быть пособниками и учителями грехов, а не мстителями за них. “Город Рим, как я слышал, — говорит Саллюстий, — основали и удерживали за собою первоначально троянцы, которые, бежав под предводительством Энея, бродили туда и сюда без определенного пристанища”**. Поэтому, если бы боги считали нужным отомстить за прелюбодеяние Париса, божественная кара скорее всего обнаружилась бы на римлянах или, по крайней мере, в том числе и на римлянах, ибо прелюбодеяние совершила и мать Энея. Действительно, на каком основании они отнеслись бы немилостиво к постыдному делу того (Париса), если относились милостиво к прелюбодеянию своей подруги Венеры, совершенному ею (не говоря о других) с Анхизом, от которого она

* Sallust. de Catilinae conjurat. XIV.

** Ibid. VI.



родила Энея? Уж не на том ли, что первое было совершено при негодовании на него со стороны Менелая, а последнее — с согласия Вулкана? Боги, полагаю, не ревнуют своих жен до такой степени, что считают приличным делить их благосклонность даже с людьми.

Но, пожалуй, подумают, что я смеюсь над баснями, а не рассуждаю серьезно о предмете такой важности. Итак, не будем, если угодно, верить тому, что Эней был сыном Венеры. Я сделаю эту уступку, если и Ромул не был сыном Марса. Если одно, то почему бы и не другое? Или богам дозволительно вступать в связь со смертными женщинами, а мужчинам с богинями — не дозволено? Условие неприятное, или, скорее, невероятное: что с соизволения Венеры было можно Марсу, того нельзя было самой Венере. Но то и другое одинаково подтверждается римскими документами. Позднейший Цезарь так же верил тому, что его бабкой была Венера, как и древнейший Ромул тому, что отцом его был Марс.

Глава IV

Кто-нибудь скажет: “Неужели ты этому веришь? Лично я этому не верю”. Действительно, и ученейший муж их Варрон, хотя и не решительно и не с полной уверенностью, но все же признает все это ложным. Однако, он считает полезным для государства, чтобы выдающиеся люди считали себя рожденными от богов, хотя бы то было и ложью: чтобы в силу этого дух человеческий, питая, так сказать, самоуверенность божественного отпрыска, смелее приступал к совершению великих дел, с большей горячностью вел их и счастливее, в силу самой уверенности, выполнял. Видишь сам, какое обширное место открывает лжи это мнение Варрона, которое я, как сумел, высказал своими словами. Поймем же, что очень многое священное и как бы религиозное могло быть вымыслено там, где ложь о самих богах считалась полезной для граждан.



Глава V

Вопрос о том, могла ли Венера от совокупления с Анхизом родить Энея или Марс от совокупления с дочерью Нумитора родить Ромула, оставим открытым. Такой же почти вопрос возникает и при чтении наших Писаний. Спрашивают: не преступные ли ангелы смешались с дочерьми человеческими (Быт. VI, 4), и рожденными от этого гигантами, т. е. людьми чрезвычайного роста и силы, в известное время наполнилась земля? Наше рассуждение может одинаково относиться к тому и другому.

Итак, если верно то, что у них написано относительно матери Энея и отца Ромула, то почему бы богам могли не нравиться прелюбодеяния человеческие, когда себе самим они их позволяли? А если ложно, то и в таком случае не могут приходить в гнев от действительных человеческих прелюбодеяний те, которые услаждаются своими, пусть даже и вымышленными. Кроме того, если одно невероятно относительно Марса, как другое — относительно Венеры, то преступление матери Ромула не находит себе оправдания ни в каком божественном совокуплении. Ведь Сильвия была жрицею Весты, и потому боги за ее святотатственное преступление должны были бы отомстить римлянам гораздо строже, чем мстили троянцам за прелюбодеяние Париса. Сами древние римляне обличенных в прелюбодеянии жриц Весты зарывали в землю даже живыми, между тем как прелюбодействовавших женщин, хотя и наказывали известным образом, смертной казни не подвергали; до такой степени они строже охраняли неприкосновенность божественной святыни по сравнению с неприкосновенностью ложа человеческого.

Глава VI

Прибавлю еще следующее: если эти боги были до такой степени недовольны человеческими преступлениями, что, оскорбившись поступком Париса, предали оставленную ими Троию огню и мечу, то убитый брат Ромула должен



был бы еще более вооружить их против римлян, чем оскорбленный греческий супруг вооружил против троянцев; братоубийство рождающегося государства должно было бы разгневать более, чем прелюбодеяние бывшего уже в силе. Для вопроса, которым мы занимаемся в данном случае, не имеет особой важности — велел ли Ромул сделать это, или сделал сам; что многие с бесстыдством отрицают, многие из чувства стыда подвергают сомнению, многие же из чувства сожаления обходят молчанием.

Мы не будем останавливаться на более тщательном расследовании проверенных уже свидетельств об этом предмете многих писателей. Несомненно, что брат Ромула был убит, и убит не врагами, не чужеземцами. Совершил ли, или только приказал это совершить Ромул, во всяком случае, он был в большей степени главою римлян, чем Парис — троянцев. Почему же тот похититель чужой жены навлек на троянцев гнев богов, а этот убийца своего брата привлек римлян под покровительство тех же самых богов? Если же и делом, и повелением Ромул был чужд этого злодейства, то, поелику оно все равно должно было быть отмщено, его совершил весь этот город, так как весь город не обратил на него внимания; и убил он уже не брата, но что еще преступнее — отца. Ибо тот и другой были основателями города, в котором одному из них злодейски причиненная смерть не позволила царствовать. По моему мнению, нельзя указать ничего такого дурного, в результате чего Троя заслужила бы, чтобы боги оставили ее и она подверглась вследствие этого разрушению, и ничего такого доброго, чем заслужил бы Рим, чтобы боги в нем обитали и он вследствие того возвышался, кроме разве того, что боги от тех убежали, будучи побеждены, и перебрались к этим, чтобы и их также точно обольстить. Впрочем, они остались и там, чтобы по обычаю своему обольщать тех, которые снова населили те самые области; и здесь, придав своему искусству обмана куда больший блеск, приобрели еще больший почет.



Глава VII

Затем, что дурного сделал Илион уже во время гражданских войн, что был разрушен Фимбрием, негоднейшим человеком из сторонников Мария, — разрушен с куда большим зверством и жестокостью, чем в древнее время греками? Тогда ведь многие ушли из него, а многие, попав в плен, остались, по крайней мере, живы, хотя и были обращены в рабство. Фимбрий же начал с обнародования эдикта, которым предписывал не щадить никого, и сжег весь город и всех людей в нем. Этим оплатили Илиону не греки, которых он вывел из терпения своей несправедливостью, а римляне, ради усиления которых он жертвовал своим благосостоянием, и общие боги ничем не помогли, а, вернее, ничем не могли помочь для отвращения этого. Неужели и тогда боги, которыми держался этот город по восстановлении его после нашествия древних греков из пепла и развалин, ушли, оставив храмы и алтари? Если действительно ушли, ищущие на то причины; и нахожу, что граждане настолько же поступили со своей стороны лучше, насколько боги — хуже. Те затворили ворота перед Фимбрием, чтобы удержать город во власти Суллы: за это Фимбрий, разгневавшись, истребил, или, точнее — совершенно стер их с лица земли. А Сулла в то время стоял еще во главе лучшей части граждан, старался еще о восстановлении республики силой оружия: благим начинаниям своим он не давал еще дурного исхода. Могли ли граждане этого города поступить лучше, честнее, добросовестнее и достойнее своего родства с римлянами, чем поступили они, сохраняя город для лучшей части римлян и запирая ворота перед убийцей Римской республики?

Пусть же защитники богов обратят внимание на то, как послужило это к их гибели. Пусть боги оставили прелюбодеев и предоставили Илион огню греков, чтобы из пепла его родился более целомудренный Рим, но зачем же они потом оставили тот же самый город, когда он был родственным римлянам, не восставал против благородного детища своего, Рима, а сохранял с величайшим



достоянством и добросовестностью верность честнейшей его части, и дозволили разрушить его не храбрым греческим мужам, а подлеишему человеку из римлян? Или богам не нравилось дело сторонников Суллы, для которого несчастные хотели сохранить город, затворив ворота? Но в таком случае зачем же они обещали и предсказывали тому же самому Сулле столько доброго? Или и в этом случае они высказывают себя скорее льстецами счастливым, чем защитниками несчастных? Ибо и в это время Илион не потому был разрушен, что был ими оставлен. Демоны, в высшей степени старательные во всем, что касается обольщения, сделали со своей стороны все, что могли. В ту пору, как все статуи богов были разрушены и сожжены вместе с городом, одна статуя Минервы, как пишет Ливий, оказалась стоящей в неповрежденном виде под развалинами ее храма. Не для того, конечно, случилось это, чтобы к чести их можно было сказать, что они-де боги отеческие, под покровительством которых Троя находится всегда, а для того, чтобы нельзя было сказать в их защиту: “Оставив-де храмы и алтари, ушли все боги”. Им дана была возможность сделать не то, что могло бы служить доказательством их могущества, а то, что послужило доказательством их присутствия.

Глава VIII

На каком же разумном основании, после опыта несчастной Трои, вверен был богам илионским на сохранение Рим? Кто-нибудь скажет, что они уже обитали в Риме в то время, когда Фимбрий, овладев Илионом, разрушил его. В таком случае почему устояла статуя Минервы? Затем, если они были в Риме в то время, когда Фимбрий разрушил Илион, то, вероятно, они были в Илионе в то время, когда сам Рим был взят и сожжен галлами; но так как они владеют весьма острым слухом и быстротою движений, то быстро на крик гусей вернулись назад, чтобы сохранить, по крайней мере, Капитолий, который остался целым; для того же, чтобы защитить прочее, их уведомили позднолато.



Глава IX

Думают, будто благодаря их помощи Нума Помпилий, преемник Ромула, пользовался миром во все время своего царствования и затворил двери храма Януса, стоявшие обыкновенно открытыми во время войн; и это якобы в награду за то, что он установил для римлян многие священные обряды. Человек этот заслуживал бы благодарности за подобный мир, если бы сумел воспользоваться им для дел полезных и, оставив пытливость вреднейшего свойства, с истинным благочестием искал Бога истинного. При данных же условиях не боги дали ему этот покой; но возможно, что они успели бы менее обольстить его, если бы нашли его менее спокойным. Чем менее нашли они его занятым, тем более успели занять его сами. Варрон сообщает о том, что было им сделано и с помощью каких средств он сумел вступить в сношение с подобными богами сам и поставить в эти сношения весь город. Если Господу будет угодно, мы поговорим об этом подробнее в своем месте.

В настоящем же случае, так как речь идет о их благодеяниях, заметим, что мир — это действительно великое благодеяние, но по большей части, как и солнце, как дожди, как и другие полезные для жизни вещи, благодеяние Бога истинного неблагоприятным и негодным. Если же это великое благо доставили Риму или Помпилию те боги, то почему они после никогда не доставляли его государству Римскому, причем даже в более заслуживавшие похвал времена? Или священные обряды более были полезны в то время, когда устанавливались, чем в то, когда совершались? Но ведь тогда их еще не было, они только вводились для того, чтобы были; после же они уже были и соблюдались, чтобы приносить пользу. Что же это значит, что те сорок три года, или, по другим источникам, тридцать девять лет царствования Нумы были проведены в таком продолжительном мире, а потом, когда священные обряды были установлены и сами боги, привлеченные именно этими обрядами, явились защитниками и хранителями, — потом, в течение долгого периода времени



г основания Рима до Августа, едва упоминается, как великое чудо, один год после первой пунической войны, в который римляне смогли затворить двери храма Януса.

Глава X

Ответят разве, что государство-де Римское не могло бы разрастись так широко и приобрести такую огромную славу, если бы не вело постоянных, непрерывно следовавших одна за другою войн? Нечего сказать, уважительная причина! Зачем же государству, чтобы сделаться великим, не иметь покоя? Разве в том, что касается тела человеческого, не лучше иметь посредственный рост впридачу со здоровьем, чем достигнуть каких-либо гигантских размеров посредством постоянных мучений, и по достижении не успокоиться, а подвергаться тем большим бедствиям, чем громаднее будут члены? Неужели было бы дурно, если бы продолжались те времена, которые очертил Саллюстий, говоря: “Итак, в начале цари (ибо таково сперва было название земных властей), держась различных мнений, одни давали образование уму, другие — телу: в то время люди жили еще не увлекаясь страстью любостяжания, и всякий был доволен своим”^{*}? Неужели для такого расширения государства следовало быть тому, что проклиняет Вергилий, говоря:

*Но постепенно сменило их время худое,
Бешенство войн, неумная жажда наживы**?*

Правда, учиняя и ведя такое множество войн, римляне имели достаточное оправдание в том, что, когда на них нагло нападали враги, их вынуждала сопротивляться не жадность к славе, а необходимость охраны собственного благосостояния и свободы. Пусть это и так; “ибо, — как пишет тот же Саллюстий, — когда государство их, воз-

* Sallust. de Catilinae conjurat. II.

** Virg. Aeneid. VIII, v. 326, 327.



росшее благодаря законам, нравам и расширению владений, казалось достаточно счастливым и достаточно могущественным, благосостояние его, как это по большей части бывает у людей, возбудило зависть. И вот соседние цари и народы стали враждебно нападать на них, а из друзей немногие подавали им помощь. Остальные, поддавшись страху, устранялись от опасностей. Но римляне, одинаково преданные делам внутренним и военным, не теряли времени, вооружались, воодушевляли друг друга и шли навстречу врагам, защищая оружием свободу, отчизну и родителей. После, когда своею доблестью они устранили угрожавшие им опасности, они подавали помощь своим союзникам и друзьям, и снискали дружбу не столько получая сами, сколько оказывая благодеяния другим”*.

При таком образе действий возвышение Рима было вполне заслуженным. Но в царствование Нумы, когда так долго продолжался мир, нападали ли на него и вызывали ли его на войну недобросовестные соседи; или ничего такого не было, и потому мир этот не нарушался? Ведь если на Рим нападали и в то время, но оружие не было противопоставляемо оружие же, то как делалось тогда, что враги останавливались, не будучи побеждены ни в одном сражении, не будучи устрашены никаким воинственным натиском, также точно могло делаться и всегда, и всегда Рим царствовал бы при затворенных дверях Януса. Если же это было невозможно, то Рим пользовался миром не до тех пор, пока того хотели его боги, а до тех, пока того хотели окружавшие его с той или иной стороны люди, которые не вызывали его на войну; или боги этого рода дерзнут представлять человеку как идущее от них и то, чего желает или не желает другой человек?

То, пожалуй, верно, что демонам попускается устрашать или возбуждать злые души; но важно то, насколько это попускается. Если бы они всегда могли это делать, и высшая таинственная сила не делала многого вопреки их усилиям, они имели бы всегда в своей власти и мир, и военные успехи, так как последние почти всегда зависят

* Sallust. de Catilinae conjurat. VI.



г возбуждения человеческих душ; но что по большей части они бывали вопреки их воле, об этом говорят не только басни, рассказывающие много ложного и весьма немного истинного, но и сама римская история.

Глава XI

Ведь не по другой какой-либо причине плакал, как рассказывают, в продолжение четырех дней известный Аполлон Кумский во время войны против ахейян и царя Аристоника. Встревоженные этим необыкновенным явлением гаруспики полагали, что статую следовало бросить в море; но вмешались в дело старики и сообщили, что подобное же явление было замечено и во время войны Антиоха и Персея, и так как дело окончилось счастливо для римлян, то по определению сената, говорили они, этому же самому Аполлону были присланы дары. Тогда вновь призванные, якобы более сведущие гаруспики ответили, что плач Аполлона — счастливое предзнаменование для римлян: потому что кумская колония — колония греческая, и плач Аполлона указывает на бедствие и поражение тем родным ему странам, откуда он принесен, т. е. самой Греции. Вслед затем была получена весть, что царь Аристоник был побежден и взят в плен; хотя Аполлон отнюдь не желал, чтобы он был побежден, скорбел о том и выказывал это даже слезами, которые текли из его камня. Поэтому не кажутся несообразными обычаи демонов, которые описываются в стихах поэтов, хотя и баснословных, но похожих на истину. У Вергилия, например, Диана скорбит о Камилле и Геркулес оплакивает смерть Палланта.

Поэтому, быть может, и Нума Помпилий, наслаждаясь миром, но не зная и не доискиваясь, кому этим миром обязан, когда размышлял на досуге о том, каким богам верить на сохранение римское благосостояние и царство, — и с одной стороны не думал, чтобы Бог высочайший, истинный и всемогущий помышлял об этих земных вещах, а с другой — припоминал, что троянские боги, привезенные



Энеем, не смогли надолго сохранить ни царства Троянского, ни Лавинийского, основанного самим Энеем, — пришел к заключению, что следует запастись другими, придав их к прежним (перешли ли они в Рим вместе с Ромулом, или могли перейти в него потом, когда была разрушена Альба) или в качестве стражей, как к способным бежать при первой же опасности, или в качестве помощников, как к слабосильным.

Глава XII

Рим, однако же, не нашел возможным довольствоваться и этими святынями, которых в немалом количестве установил ему Помпилий. Так, он не имел еще важнейшего из храмов, храма Юпитера. Капитолий построил в нем царь Тарквиний. А из Епидавра привлек к себе сердца Рима Эскулап, чтобы в качестве наиболее сведущего врача заниматься в знаменитейшем городе своим искусством с большею славой. Явилась из какого-то Пессинунта и мать богов. Ибо неприлично же было, чтобы в ту пору, как сын ее управлял уже capitoлийским небом, сама она скрывалась бы в столь незначительном месте. Будучи же матерью всех богов, она не только пришла в Рим вслед за некоторыми из своих сыновей, но и шла впереди других, которые вскоре последовали за нею. Желал бы я только знать, она ли родила Кинокефала, который уже гораздо позже пришел из Египта? От нее ли родилась и богиня Лихорадка — это пусть решит правнук ее, Эскулап. Но от кого бы они ни родилась, думаю, что чужеземные боги не осмелятся назвать ее низкой по происхождению, ее — богиню и римскую гражданку!

Поставленный под охрану стольких богов (богов, которых и пересчитать нельзя: туземных и чужеземных, небесных, земных, подземных, морских, родниковых, речных и, как говорит Варрон, известных и неизвестных; во всяком роде богов, как животных, так и мужчин и женщин), — поставленный, говорю, под охрану стольких богов, Рим не должен был бы претерпеть и выстрадать столько великих



ужасных бедствий, из множества которых я напомним лишь некоторые. Высоко поднимавшимся дымом своих курений, как бы нарочито поданным знаком, он собрал для своей охраны чрезвычайное множество богов: но устанавливая им храмы, алтари, жертвоприношения и священство, он оскорблял высочайшего и истинного Бога, Которому одному должны были принадлежать эти обряды религиозного почитания. И хотя при меньшем количестве богов он жил счастливее, однако решил, что насколько он увеличился сам, настолько же ему нужно увеличить и количество их, как матросов на корабле. Полагаю, что он не понадеялся, чтобы малое их число, при котором он в сравнительно худших условиях жил лучше, было достаточным для поддержания его величия. Но уже и при самих царях, за исключением Нумы Помпилия, о котором я говорил выше, до какой степени достигло зло враждебного разногласия, если довело до убийства Ромулова брата?

Глава XIII

Каким же образом ни Юнона, принявшая впоследствии вместе с Юпитером под свое покровительство

*Римлян, вселенной хозяев, тоги носящий народ**,

ни даже Венера, родная потомству Энея, не были в состоянии помочь римлянам получить жен честным и мирным путем, и они оказались в таком затруднительном положении, что похитили их коварным образом и вслед затем вынуждены были сражаться с тестями; так что несчастные женщины, не успевшие еще привязаться к мужьям, учинившим над ними насилие, получили от них в качестве брачного дара кровь родителей? Но римляне-де в этом столкновении победили своих соседей. А скольких и каких ран и смертей стоили той и другой стороне подобные победы родных над родными и соседей над

* Virg. Aeneid. I, v. 282.



соседями? Из-за одного только тестя, Цезаря, и одного зятя, Помпея, когда дочери Цезаря и жены Помпея уже не было в живых, с какою глубокой и справедливой скорбью восклицает Лукан:

*Мы пишем о войнах, что были печальней гражданских,
Когда на полях эмафийских злодейство не знало
границ*.*

Да, римляне победили, чтобы с обагранными кровью тестей руками обрести жалкие объятия их дочерей! И последние не смели оплакивать убитых отцов, чтобы не оскорбить победителей-супругов. Даже когда те сражались, они не знали, кому из них желать победы. Такими браками наградила римлян не Венера, а Беллона; или, может быть, Алект, известная адская фурия, в то время, когда Юнона уже покровительствовала им, имела большую возможность им вредить, чем тогда, когда Юнона возбуждала ее против Энея своими просьбами**? Плен Андромахи был счастливее, чем эти римские браки: после объятий ее, хотя и рабских, Пирр не убил никого из троянцев. Римляне же предавали в сражениях смерти отцов после того, как заключили уже в свои объятия на брачном ложе их дочерей. Та, подпав под власть победителя, могла оплакивать уже умерших родных и не бояться за живых; а эти, связанные узами сожительства со сражающимися, боялись смерти своих отцов, когда мужа выступали в поход, оплакивали ее, когда они возвращались, и не могли свободно выражать ни опасений своих, ни скорби. Им приходилось или по чувству родственной любви сокрушаться о гибели сограждан, родственников, братьев, отцов, или, подавив в себе жалость, радоваться победам мужей.

К этому присоединилось и то, что некоторые из них потеряли мужей от оружия отцов, а некоторые — одновременно и отцов, и мужей. Ибо немалым опасностям такого рода подвергались и римляне. Дело дошло до осады

* Lucan. lib. I.

** Virg. Aeneid. VII, v. 319 et. sqq.



има, и римляне защищались, затворив ворота. Когда последние с помощью обмана были отворены и враги проникли внутрь стен, между тестями и зятьями произошло преступное и крайне жестокое сражение на самой городской площади. И вот похитители эти начинали даже терпеть поражение, и, во множестве прячась по домам своим, покрывали еще большим позором свои вчерашние победы, и без того постыдные и достойные сожаления. В это время Ромул, не надеясь уже на храбрость своих, попросил Юпитера, чтобы они остановились: по этому случаю Юпитер и получил имя Статора. Но великому бедствию этому не было бы конца, если бы похищенные женщины не выскочили с распущенными волосами и, припав к ногам отцов, не смягчили их в высшей степени справедливый гнев не победным оружием, а умоляющей любовью. После этого Ромул, не выносивший совместного участия в правлении родного брата, вынужден был принять в соправители царя сабинян, Тита Тация; но мог ли долго терпеть его тот, кто не пожелал терпеть брата и близнеца? Поэтому, умертвив и этого для вящего божеского достоинства, он стал царствовать один. Что это за брачное право? что за побуждения к войнам? что за основания для родства, свойства, сообщества, обожания? Что, наконец, за государственная жизнь под покровительством стольких богов? Видишь сам, сколько всего могло бы быть сказано по этому поводу, если бы наше внимание не устремлялось к тому, что остается впереди, и речь не спешила перейти к другому.

Глава XIV

А что потом, после Нумы, при других царях? С каким великим бедствием не только для себя, но и для римлян, были вызваны на войну альбанцы, — вызваны потому, что слишком долгий мир при Нуме потерял свою цену? Какие частые поражения терпели войска римские и альбанские, и до какого бессилия дошли оба государства? Та Альба, которую построил Асканий, сын Энея, и которая была матерью Риму более близкой, чем сама Троя, начала



ойну, будучи вызвана царем Туллом Гостилием; но, вступив в борьбу, она то была отражена, то отражала сама, пока это бессмысленное и ни к чему не приведшее множество сражений не наскучило обеим сторонам. Тогда решили покончить войну сражением трех братьев-близнецов от каждой из сторон. Со стороны римлян выступили три Горация, со стороны альбанцев — три Куриация. Три Куриация победили и умертвили двух Горациев; но один Гораций победил и убил трех Куриациев. Итак, Рим оказался победителем в последнем сражении, причем из шести живых возвратился домой только один. Кто потерпел урон с обеих сторон? Кому было горе, как не роду Энея, потомкам Аскания, племени Венеры, правнукам Юпитера? Ведь и эта война была более печальной, чем война гражданская: сражались между собою города, бывшие в отношении друг к другу как дочь и мать. К последнему сражению трех братьев-близнецов присоединилось и другое жестокое и ужасное зло. Так как оба народа прежде были дружественными (ибо были соседями и родственниками), то с одним из Куриациев была помолвлена сестра Горациев. Когда последняя увидела у брата-победителя отнятое у убитого жениха оружие, то была убита этим же братом и сама за то, что заплакала.

На мой взгляд, чувство одной этой женщины было куда человечнее, чем чувство всего римского народа. Думаю, что ее слезы не были преступны, оплакивала ли она мужа, которого согласно данному слову уже считала своим, или скорбела о брате, который убил его. У самого же Вергилия благочестивый Эней высказывает похвальное чувство скорби о враге, убитом его же собственной рукою. И Марцелл оплакивал Сиракузы, припоминая незадолго перед тем уничтоженное его руками величие их и славу и размышляя о судьбе. Пусть же человеческое чувство не вменяет в преступление то, что женщина оплакивала своего жениха, убитого ее братом, если мужчинам вменялось в похвалу то, что они оплакивали даже врагов, ими побежденных. Итак, когда упомянутая женщина оплакивала смерть жениха, убитого ее братом, в то самое время Рим торжествовал, что нанес такое страшное поражение городу-матери



одержал победу с таким пролитием родственной крови с той и другой стороны.

Зачем выставляют мне на вид так называемую славу и блеск победы? Устранив это прикрытие бессмысленной славой, рассмотрите, взвесьте, обсудите голые факты. Пусть будет указана вина Альбы, как выставлялось на вид прелюбодеяние Трои. Ничего такого, ничего подобного не оказывается; а выставляется лишь одно: что Туллу нужно было призвать к оружию “обленившихся мужей и отвыкшие от триумфов войска”*. Итак, злодейство гражданской и родственной войны совершилось благодаря тому пороку, которого мимоходом касается Саллюстий. Упомянув с похвалой в нескольких словах древнейшие времена, когда люди проводили жизнь без жадности и каждый был вполне доволен своим собственным, он говорит: “После же, когда в Азии Кир, а в Греции лакедемоняне и афиняне начали покорять города и народы, имея побуждением к войне страсть к господствованию и считая величайшей славой величайшую власть...”** и так далее, соответственно ходу его речи. Мне достаточно остановиться на этих его словах. Эта страсть к господствованию терзает и губит род человеческий великими бедствиями. Побежденный этой страстью, Рим считал в то время торжеством для себя, что он победил Альбу, и рассказы о своем злодействе называл славой. “Ибо нечестивый, — говорит наше Писание, — хвалится похотию души своей; корыстолюбец убажывает себя” (Пс. IX, 24).

Итак, пусть снимутся с вещей ложные покровы и обманчивые прикрасы, чтобы подвергнуть их беспристрастному суду. Пусть никто не говорит мне, что такой-то и такой-то великий-де человек, потому что сражался с тем-то и тем-то и победил. Сражаются и гладиаторы, и они побеждают; и бесчеловечность этого рода вознаграждается похвалами. Но, по моему мнению, лучше кому бы то ни было понести наказание за бездеятельность, чем добиваться славы их подвигов. И однако же, если бы выступили на

* Virg. Aeneid. VI, v. 813, 814.

** Sallust. de Catilinae conjurat. II.



арену с целью сразиться между собою такие гладиаторы, из которых один был бы отец, а другой — сын, кто бы это стерпел? кто не возмутился бы? Каким же после этого образом могла быть славной вооруженная борьба между государствами, из которых одно было матерью, а другое — дочерью? Уж не в том ли была разница, что арена была другая, и куда более обширные поля были покрыты трупами не двух гладиаторов, а множества людей из среды двух народов, и что эти битвы происходили не в стенах амфитеатра, а на глазах всего мира, и нечестивое зрелище давалось и современникам, и потомкам, до которых дошел о нем слух?

Несмотря на это, боги-покровители римской власти допустили жестокость поединка и оставались как бы театральными зрителями подобных сражений до тех пор, пока за трех убитых Куриациев не была братним мечем добавлена к двум братьям третьей с другой стороны сестра Горациев; это, наверное, для того, чтобы и Рим, который победил, имел не менее мертвых. Затем в виде выгоды, доставленной победой, была разрушена Альба, где после Илиона, разрушенного греками, и после Лавиния, в котором Эней основал было временное и переходное царство, уже в третьем месте обитали пресловутые троянские боги. Но, может быть, они по обычаю своему уже перекочевали оттуда, и потому Альба была разрушена?

*Храмы оставивши и алтари, удалились
Боги, которыми царство держалось*?*

В таком случае они удалились уже в третий раз, чтобы получить от предусмотрительных людей под свою охрану четвертый город, Рим. Альба, в которой царствовал Амулий, изгнавший брата, им не понравилась; но Рим, в котором царствовал Ромул, убивший брата, понравился. Но, говорят, прежде чем Альба была разрушена, население ее было переведено в Рим, чтобы из двух городов образовался один. Пусть так. Но все же царственный город Аскания

* Virg. Aeneid. II, v. 351, 352.



третье местожительство троянских богов был разрушен дочерним ему городом. А чтобы после войны остатки двух народов свернулись в один жалкий творог, нужно было прежде пролить много крови каждого из них. Я не буду входить в подробности того, сколько раз при последующих царях возобновлялись те самые войны, которые казались оконченными победами, и как, завершившись новыми и новыми кровопролитиями, после договоров и мира между зятьями и тестями и между их поколением и потомством, они повторялись снова и снова. Ясным признаком этого бедствия было то, что ни один из этих царей не затворил дверей войны. Ни один из них, следовательно, не царствовал мирно при стольких богах охранителях.

Глава XV

А какова была кончина этих царей? О Ромуле рассказывает баснословная лесть, будто он был взят на небо. Рассказывают (о его кончине) и некоторые из писателей, но они утверждают, что он был рассечен на части сенатом за жестокость, и что какому-то Юлию Прокулу было поручено распустить слух, будто он явился ему и велел через него римскому народу почитать его в качестве божества; и таким образом народ, начинавший было негодовать на сенат, был остановлен и успокоен. К тому же случилось солнечное затмение. Невежественная чернь, не зная, что оно имело определенную причину в солнечном течении, приписало его заслугам Ромула. Между тем, если бы это затмение было сетованием солнца, по поводу его следовало бы скорее прийти к убеждению, что Ромул убит и что факт злодейства доказывается отвращением дневного светила. Так было в действительности в то время, когда был распят Господь из-за жестокости и нечестия иудеев. Что в последнем случае солнечное затмение случилось не в силу правильного течения планет, достаточно видно из того, что в то время была иудейская пасха; последняя празднуется в полнолуние, а обыкновенное солнечное затмение бывает только при ущербе луны. Это принятие



Ромула в число богов и Цицерон довольно ясно выставляет скорее как предполагаемое, чем как действительное, когда, давая в целом похвальный отзыв о Ромуле, говорит в книгах о республике устами Сципиона: “Он достиг столь много, что, когда после солнечного затмения его неожиданно не оказалось, пришли к заключению, что он перемещен в число богов: подобного мнения о себе никто из смертных никогда не мог внушить другим, если не украшался чрезвычайными добродетелями”*. В том месте, где Цицерон говорит, что его неожиданно не оказалось, разумеется, конечно, или неистовство бури, или тайное убийство, тайное злодеяние. Ибо другие из их писателей приурочивают к солнечному затмению и неожиданную бурю, которая, несомненно, или дала возможность совершить злодеяние, или сама погубила Ромула.

А о Тулле Гостилие, который был после Ромула третьим царем и был убит молнией, тот же Цицерон и в тех же книгах говорит: “О нем не составилось мнения, что таким родом смерти он был принят в число богов; это вероятно потому, что римляне не хотели делать обыкновенным, т. е. незначительным то, в чем успели убедить относительно Ромула: что случилось бы, если бы они то же самое охотно приписали и другому”. В обличительных же речах он говорит открыто: “Мы возвели Ромула в ранг бессмертных богов по благорасположению к нему и по доброму о нем мнению”**, чтобы показать этим, что этого не было в действительности, а рассказывалось и разглашалось так из благорасположения к нему и ради его доблести. В “Гортензии” же, говоря о подлежащих точным вычислениям затмениях, он замечает: “Темнота бывает такая же, какая произошла во время убийства Ромула, которое совершилось во время солнечного затмения”. На этот раз он не побоялся говорить об убийстве потому, что занимался серьезным исследованием вопроса, а не похвалами.

А остальные цари римского народа, за исключением Нумы Помпилия и Анка Марция, умерших от болезни,

* Cic., De Republ. lib. II.

** Cic., Orat. III, Catilin.



какой они имели ужасный конец! Тулл Гостилий, победитель и разрушитель Альбы, был, как я сказал выше, со всем своим домом сожжен молнией. Приск Тарквиний был убит детьми своего предместника. Сервий Туллий погиб от гнусного злодейства своего зятя Тарквиния Гордого, наследовавшего после него царство.* И после такого отцеубийства, жертвою которого стал лучший царь этого народа, не ушли же, оставив храмы и алтари, эти боги, о которых говорят, что они поступили так с несчастной Троей, предоставив ее на разрушение Парису! Напротив того, Тарквиний же и наследовал умерщвленному им тестю. Боги не отступили от этого гнусного преступника, который царствовал благодаря убийству тестя, прославился сверх того многими войнами и победами и построил из военной добычи Капитолий, а, напротив того, охраняли все и наблюдали за всем, и допустили царя своего Юпитера стать во главе и повелевать собою из этого величайшего храма, т. е. из здания, воздвигнутого отцеубийцей. Ибо дело обстояло не так, что он еще прежде, когда был невинным, построил Капитолий, а потом за преступления был изгнан из Рима; но так, что само царство, в котором построен Капитолий, он получил посредством своего зверского злодеяния.

А что римляне впоследствии лишили его царства и удалили его из стен города, так это за бесчестие, нанесенное Лукреции не им самим, а его сыном, причем не только без его ведома, но даже в его отсутствие. Он осаждал в то время город Ардею и вел войну за римский народ. Что сделал бы он, если бы о мерзком поступке его сына было доведено до его сведения, мы не знаем. Не спросив его мнения и не попробовав обратиться к его суду, народ отнял у него власть, отобрал войско, из которого ему велено было удалиться, и затворил потом ворота, не дозволив ему войти в город, когда он возвращался. Тем не менее он, — после жесточайших войн, которыми, возбудив соседние народы, истощил этих самых римлян, и после того, как оставленный всеми, на чью помощь надеялся, оказался не в силах возвратить царство, — прожил, как рассказывают, в соседнем Риму городе Тускуле



сорок четыре года в качестве частного лица в полном покое; вместе с женою он достиг старости и умер, вероятно, более желанной смертью, чем его тесть, погибший от злодеяния своего зятя и не без ведома, как прибавляют, своей дочери. Римляне, однако же, назвали этого Тарквиния не Жестоким или Злодеем, а Гордым; вероятно потому, что его царственной гордости они не выносили по высокомерию другого рода. На убийство же им своего тестя, лучшего из царей их, обратили так мало внимания, что сделали его своим царем: не было ли еще большим злодейством давать такую награду за такое злодейство?

И, однако же, не ушли, оставив храмы и алтари, боги. Разве кто-нибудь станет, пожалуй, защищать их в том смысле, что они для того и остались в Риме, чтобы иметь возможность не столько оказывать благодеяния римлянам, сколько наказывать их тем, что увлекли их пустыми победами и истребляли тяжкими войнами. Такова была жизнь римлян при царях в тот достохвальный период государственной жизни, который продолжался почти двести сорок три года, до изгнания Тарквиния Гордого; период, в течение которого все те победы, купленные ценою такого множества крови и столь великих бедствий, едва раздвинули границы государства на двадцать миль от города — пространство, с которым нельзя в настоящее время сравнить даже территорию любого маленького города гетов!

Глава XVI

Присоединим к этому периоду и то время, когда, по словам Саллюстия, соблюдались еще справедливость и беспристрастность, когда еще боялись Тарквиния и велась жестокая война с Этрурией. Ибо пока этруски помогали Тарквинию в его усилиях возратить царство, жестокая война потрясала Рим. Поэтому-то, говорит Саллюстий, в государственном управлении соблюдались справедливость и беспристрастность, — соблюдались под давлением страха, а не по внушению чувства справедливости.



Но и в этот короткий промежуток времени, каким печальным годом был тот, в который поставлены были, по отмене царской власти, первые консулы! Не прожили они и года, на который были избраны, как Юний Брут изгнал из Рима лишённого сана товарища своего Люция Тарквиния Коллатина; а вслед затем паф в сражении от ран, которыми обменялся с врагом, убив предварительно сам же своих сыновей и братьев своей жены, потому что узнал, что они составили заговор с целью восстановления Тарквиния. Хотя Вергилий и отзывается с похвалой об этом поступке, однако, высказывает вслед затем и некоторый ужас. Ибо, сказав:

*... детей, возбуждающих новые войны,
Предал смерти отец, защищающий благо свободы,*

он тотчас же восклицает:

Как бы потомство о том не судило — несчастный!

Пусть, говорит он, потомство как угодно судит о подобных действиях, т. е. пусть их оправдывает и превозносит, но убивший своих детей — несчастен. И затем, как бы утешая несчастного, прибавляет:

*Так победила к отчизне любовь и жажда безмерная
славы*.*

Не очевидно ли, что на этом Бруте, который убил собственных сыновей и, будучи поражен тем, кого поразил сам, не пережил своего врага, сына Тарквиния, но был пережит этим же Тарквинием, отмщена была невинность товарища его Коллатина, который, будучи добрым гражданином, претерпел по изгнании Тарквиния то же, что и сам Тарквиний? Ведь и тот же самый Брут, как говорят, был родственником Тарквиния. А между тем Коллатина погубило только сходство имени: он назывался также и

* Virg. Aeneid. VI, v. 820 — 823.



Тарквинием. В таком случае пусть бы принудили его переменить имя, но не отчизну. Пусть бы, наконец, в имени его не было этого названия; пусть бы он просто звался Люций Коллатин. Но его не лишили того, чего он мог лишиться безо всякого для себя ущерба, чтобы заставить, как первого консула, потерять сына, а как доброго гражданина — гражданство. Не эта ли отвратительная и во всех отношениях бесполезная для республики суровость и составляет славу Юния Брута? Не ради ли осуществления ее и

... победила к отчизне любовь и жажда безмерная славы?

Люций Тарквиний Коллатин, муж Лукреции, во всяком случае был поставлен консулом вместе с Брутом тотчас же по изгнании тирана Тарквиния. До какой степени справедливо относился к делу народ, обращавший в гражданине внимание на нрав его, а не на имя? И до какой степени несправедливо лишил отечества и власти Брут своего товарища по этой первой и новой власти, когда мог лишить его только имени, если имя его оскорбляло? Такие злые дела делались, такие случались бедствия, когда в этой республике соблюдались справедливость и беспристрастность. Также точно и Лукреций, избранный на место Брута, умер от болезни прежде, чем окончился тот год. После уже Валерий, бывший преемником Коллатина, и Гораций, избранный на место умершего Лукреция, закончили этот похоронный и тартарский год, имевший пять консулов, — год, в который римская республика впервые установила новый сан и власть самого консульства.

Глава XVII

Потом, когда страх несколько уменьшился, — не потому, что утихли войны, а потому, что не давили уже такой великой тяжестью, — по окончании того, так сказать, времени, в которое соблюдались беспристрастность и спра-



едливость, последовало то, о чем вкратце рассказывает сам же Саллюстий: “Потом патриции начали поработать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью, лишать его полей и управлять государством одни, с устранением от участия в том остальных. Выведенные из терпения этими жестокостями и особенно долгами, когда непрерывные войны требовали и податей, и отправления военной службы, вооруженный народ удалился на священный авентинский холм и там выбрал себе народных трибунов и учредил другие права. Конец этим раздорам и усобицам положила вторая пуническая война”^{*}.

Итак, зачем мне вдаваться в такие длинные описания и останавливать на них внимание своих читателей? До какой степени была несчастна республика в столь продолжительный период, в течение стольких лет до второй пунической войны, когда извне не переставали беспокоить ее войны, а внутри — раздоры и мятежи, об этом сказал Саллюстий. Поэтому знаменитые победы Рима были не истинной радостью людей вполне довольных, а суетным утешением несчастных и обманчивым побуждением к перенесению новых бесполезных страданий для людей беспокойных. Добрые и благоразумные римляне пусть не сердятся на нас за то, что мы говорим подобные вещи; хотя об этом их не следовало бы ни просить, ни в этом убеждать, так как, несомненно, они не будут сердиться. Ибо мы высказываемся не более жестко и не более жестокие вещи, чем высказывают их же писатели, далеко превосходящие нас красноречием и подробностью изложения; а между тем, они и сами трудились над изучением их, и заставляют над этим трудиться своих детей. А те, которые сердятся, выслушают ли меня спокойно, если я скажу только то, что говорит Саллюстий? “Возникли весьма частые беспорядки, восстания и, наконец, гражданские войны, когда немногие сильные, которым очень многие старались угождать, под благовидным предлогом защиты интересов патрициев или плебеев стали стремиться к господству; и добрыми и дурными гражданами стали называться не за

* Sallust. Histor. lib. I.



аслуги перед республикой, — так как все одинаково были испорчены, — а добрым считался тот, кто был наиболее богат и мог сильнее наносить обиды, коль скоро защищал данное положение дел”*

Далее, если упомянутые историки считали, что истинная свобода не должна молчать о болезнях своего государства, которое во многих отношениях они поневоле превозносили в похвалах, ибо для них не существовало другого, более истинного государства, которое должно состояться из вечных граждан: то как прилично поступать нам, которые, чем лучшую и вернейшую надежду имеем в Боге, тем большую должны иметь свободу, когда нашему Христу вменяют в вину болезни настоящего времени, чтобы более слабые и более простые умы отклонить от того государства, в котором одном возможна жизнь непрерывная и блаженная? Да мы и не говорим о богах их более ужасных вещей, чем те, что то и дело говорят их же писатели, которых они читают и восхваляют. То, что мы говорим, мы берем именно у этих самых писателей, и при этом отнюдь не в состоянии высказать все (что сказано ими) с такою же силой.

Итак, где же были эти боги, которых полагают нужным почитать ради короткого и обманчивого счастья в этом мире, — где были они, когда такие бедствия обрушивались на римлян, которым они с коварной ложью выставляли себя для почитания? Где были они, когда был убит консул Валерий, мужественно защищавший Капитолий, подожженный ссыльными рабами? Скорее он сам мог принести пользу храму Юпитера, чем в состоянии была помочь ему толпа стольких божеств с величайшим и верховным царем своим, храм которого он отстаивал. Где были они, когда измученный непрерывными мятежами и несколько успокоившийся в ожидании послов, отправленных в Афины для заимствования законов, город был опустошен тяжким голодом и моровою язвой? Где были они, когда народ, снова страдавший от голода, поставил первого префекта хлебных запасов; и когда, при усилении голода, был

* Ibid.



обвинен в искательстве царской власти Спурий Мелий, раздававший хлеб голодавшей черни, и по настоянию того же самого префекта и распоряжению одряхлевшего от старости диктатора Квинтия был убит Квинтом Сервилием, магистром всадников, при величайшем и опаснейшем смятении города?

Где были они, когда с появлением страшной моровой язвы народ, долго и беспомощно страдавший, пришел к мысли устроить бесполезным для него богам новые лектистернии, чего прежде никогда не делал? Постилались в честь богов ложа (*lecti sternebantur*); отсюда получил свое название и сам религиозный обряд или, вернее, — святотатство. Где были они, когда римское войско, безуспешно сражаясь, терпело под Вейями в течение десяти лет постоянные и страшные поражения, пока наконец не помог ему Фурий Камилл, которого потом осудили неблагодарные граждане? Где были они, когда Рим взяли, разграбили, сожгли и наполнили трупами галлы? Где были они, когда произвела величайшее опустошение та необыкновенная язва, от которой погиб и этот Фурий Камилл, защищавший неблагодарную республику от вейенцев, а потом освободивший от галлов? Это была та самая язва, во время которой сценические игры принесли новую язву уже не в тела римлян, но, что гораздо губительнее, в их нравы.

Где были они, когда появилась другая страшная язва от употребления, как полагают, ядов матронами, нравы которых, причем весьма многих и из самых благородных фамилий, оказались ужаснее всякой язвы? Или когда оба консула с войском, осажденные самнитянами в кавдинских ущельях, вынуждены были заключить постыдный договор; так что, оставив заложниками шестьсот римских всадников, остальные, сложив оружие и лишенные врагами всех своих доспехов, должны были в одном платье пройти под игом врагов? Или когда при страдании других тяжкими и заразными болезнями, многие в войске погибли от ударов молнии? Или когда, также во время другой невыносимой язвы, Рим вынужден был вызвать из Епидавра и принять в число богов Эскулапа в качестве бога-врача, ибо царю всех богов, Юпитеру, уже давно сидевшему в Капитолии,



сладогострастие, которому он предавался с юности, не дозволило, очевидно, изучить медицину? Или в то время, как вступившие однажды в заговор враги: луканы, бруттии, самнитяне, этруски и галлы, сперва убили послов, а потом разбили предводимое претором войско, причем погибло семь трибунов и тринадцать тысяч воинов? Или когда, после жестоких и продолжительных раздоров в Риме, в результате которых народ от свойственного врагам грабежа удалился на Яникул, бедствие приняло такой грозный характер, что ради этого, как делалось обыкновенно при крайних опасностях, был поставлен диктатором Гортензий; и когда этот Гортензий, возвратив народ, умер во время отправления своей должности, чего прежде не случалось ни с одним диктатором и что служило для этих богов тем более тяжким укором, что случилось уже в присутствии Эскулапа?

После этого разные войны усилились до такой степени, что по недостатку воинов на военную службу стали набирать и пролетариев, которые потому и получили свое имя, что, не будучи в состоянии по бедности нести военную службу, освобождались от нее для рождения детей (*proles*). Врагом римлян сделался и призванный тарентинцами Пирр, царь греческий (эпирский), пользовавшийся в то время чрезвычайною славой. Между прочим, когда он спрашивал о возможном исходе своего предприятия, Аполлон довольно остроумно дал ему такое двусмысленное предсказание, что мог оставаться вещуном, что бы затем ни случилось. Он сказал: “*Dico te, Pyrrhe, vincere posse Romanos*”. Поэтому, Пирр ли победил бы римлян, или римляне — Пирра, предсказатель судеб мог спокойно ждать какого угодно исхода. Какие тогда и до какой степени ужасные последовали поражения войск той и другой стороны? Иногда казался победителем Пирр, так что мог бы уже истолковывать предсказание Аполлона в свою пользу; но вслед затем из другого сражения выходили победителями римляне. При такой гибели людей от войн, появилась и сильная моровая язва у женщин. Они умирали беременные прежде, чем наступал срок разрешения от беременности. Думаю, что Эскулап на этот раз извинял себя тем, что он состоял



должности врача, а не повивальной бабки. Подобным же образом погибал и скот, так что опасались даже исчезновения животного рода. А что сказали бы они, если бы в наше время случилась та достопамятная зима, до такой невероятной степени суровая, что ужасной глубины снег даже на форуме лежал в продолжение сорока дней, а Тибр был скован льдом? И та также страшная язва, которая так долго свирепствовала, столь многих погубила?

Когда эта язва продолжилась и на другой год, приняв еще более ужасные размеры, то, ввиду бесполезности присутствия Эскулапа, обратились к сивиллиным книгам. В предсказаниях этого рода, как упоминает Цицерон в книгах о гадании, верили обыкновенно более толкователям, которые высказывали свои предположения о вещах сомнительных как могли или как хотели. Тогда сказано было, что причина язвы заключается в том, что многие, захватив значительное число священных зданий, держат их в частном владении. Эскулап, таким образом, был оправдан от тяжелого обвинения в невежестве или бездействии. Но почему многие овладели упомянутыми храмами, не встречая ни с чьей стороны препятствия, как не потому, что долго молились такой толпе богов без всякой пользы; и поэтому постепенно места эти оставались почитателями, так что могли, не вызывая неудовольствия ни с чьей стороны, ибо были пусты, обращаться на нужды человеческого употребления? Ведь если бы и эти, возвращенные и восстановленные в то время якобы для прекращения язвы храмы, не были в дальнейшем таким же образом забыты, как заброшенные и перешедшие в частное владение, то в заслугу Варрону отнюдь не поставили бы того, что в сочинении о священных зданиях он упоминает так много неизвестных. Впрочем, в то время забота была не об удачном прекращении язвы, а об искусном оправдании богов.

Глава XVIII

А во время пунических войн, — когда победа долго оставалась сомнительной и колебалась между тем и другим



осударством, когда два наиболее сильные народа направляли друг на друга самые мужественные и самые могущественные удары, — сколько было стерто с лица земли мелких царств? Сколько разрушено обширных и знаменитых городов? Сколько пострадало, сколько погибло гражданских обществ? На каких громадных расстояниях произведены были опустошения стольких стран и областей? Сколько раз побежденные сперва были победителями после? Сколько истреблено было людей как из среды сражавшихся воинов, так и из среды народов, не поднимавших оружия? Какое множество кораблей частью было истреблено в морских сражениях, частью же погибло от бурь? Если бы мы вздумали все это рассказывать или припоминать, то вынуждены были бы стать историком.

Встревоженный сильными опасениями, Рим прибег в то время к суетным и смешным средствам. По указанию сивиллиных книг были восстановлены столетние игры. Празднование их было установлено через сто лет; но при более счастливых обстоятельствах оно прекратилось, ибо попросту забылось. Возобновили понтифики и священные игры в честь умерших, которые также вышли из употребления в предшествовавшие лучшие времена. Конечно, в то время, когда они были возобновлены, царству мертвых, которое обогащалось таким количеством умирающих, было приятно позабавиться: но несчастные люди и без того давали великие игры в честь демонов и приносили богатые жертвы подземному царству, ведя эти бешенные войны, выказывая кровавую храбрость и празднуя там и здесь убийственные победы. Но ничего более достойного сожаления не случилось во время первой пунической войны, как то поражение римлян, вследствие которого попал в плен даже известный Регул, упоминавшийся нами в первой и второй книгах, муж действительно великий, бывший перед этим победителем и покорителем карфагенян. Он завершил бы и самую первую пуническую войну, если бы из-за чрезмерного желанья славы не предписал обессиленным войною карфагенянам условий более суровых, чем какие они могли принять. И неожиданный плен этого мужа, и в высшей степени возмутительное его рабство,



равно как его верность клятве и крайне лютая смерть, — все это, если не заставляет богов краснеть, то разве что потому, что они воздушны и крови не имеют.

Не было в то время недостатка в тяжких бедствиях и внутри стен Рима. От необыкновенно сильного разлития реки Тибр разрушились почти все одноэтажные дома в городе; одни — не выдержав стремительного напора волн, другие же размокнув и рассыпавшись от продолжительного стояния в воде. За бедствием от воды последовало еще более губительное бедствие от огня, который, охватив некоторые великолепнейшие здания подле форума, не пощадил и наиболее близкого к нему храма Весты, где ему обыкновенно как бы давали вечную жизнь старательной подкладкой дров не столько почтенные, сколько присужденные к своего рода наказанию девы. Но в то время огонь здесь не жил, а бешенствовал. Приведенные в ужас его стремительностью, девы не в состоянии были спасти эти роковые святыни, которые погубили уже три города, в которых находились. За ними, рискуя жизнью, бросился и вытащил их понтифик Метелл, до половины опаленный. Или огонь не узнал его, или там уже не оставалось ни одного бога, который бы еще не бежал, если был.

Итак, человек мог принести больше пользы святыне Весты, чем она — человеку. Если же она не могла предохранить саму себя от огня, то чем могла помочь она против воды и огня городу, благосостояние которого, как думали, она охраняла? Само дело показало с полной ясностью, что она решительно ничем не могла помочь. Мы не выдвинули бы со своей стороны никакого возражения, если бы они сказали, что эта святыня была установлена не для охранения настоящих временных благ, а для обозначения благ вечных, и поэтому, если случается, что она как телесная и видимая погибает, от этого не бывает никакого вреда тому, ради чего она была поставлена, и она может быть снова восстановлена для того же самого употребления. Но по своей изумительной слепоте они полагают, что благодаря именно этой святыне, которая время от времени гибнет, земное благосостояние и временное счастье государства погибнуть не может. Поэтому,



Когда им указывают, что и при существовании святыни благосостояние падало или бедствия обрушивались, они стыдятся изменить свое мнение, которое защитить не в состоянии.

Глава XIX

Было бы слишком долго перечислять все те бедствия, которые во время второй пунической войны терпели оба народа, так долго и упорно сражавшиеся между собою. Даже те из писателей, которые поставили для себя задачей не столько описывать римские войны, сколько восхвалять римское владычество, признаются, что победитель часто бывал похож на побежденного. Когда Ганнибал выступил из Испании, перешагнув Пиринейские горы, прошел Галлию, перевалил через Альпы и с увеличенными во время такого обхода силами, все опустошая и покоряя, ворвался, как бурный поток, в устья Италии, — какие последовали кровопролитные войны, сколько сражений? Сколько раз римляне были побеждены? Сколько городов было без боя сдано неприятелю, сколько взято силой оружия и разрушено? Какие жестокие битвы и сколько их было, славных для Ганнибала поражением римлян? Что мне сказать об этой катастрофе при Каннах, где Ганнибал, хотя он и был крайне жесток, однако, насытившись ужасным пролитием крови врагов, приказал, говорят, щадить их? Он послал оттуда в Карфаген три четверика золотых колец. Из этого должны были понять, что в этом сражении пало столько римской знати, что определить количество ее легче было мерою, чем счетом; а сколько пало рядового войска, которое вообще тем многочисленнее, чем ниже по общественному положению, которое лежало без колец, о том-де скорее можно предполагать, чем утверждать.

Затем последовал такой недостаток в воинах, что римляне собирали осужденных за преступления, освобождая их от наказания, давали рабам свободу и не столько пополняли ими, сколько составляли из них постыдное войско. Но у рабов, а чтобы не обижать их, скажу — у освобожденных, не хватало оружия, чтобы сражаться за



имскую республику. Было забрано оружие из храмов; римляне как бы так говорили своим богам: “Сложите оружие, которое держали так долго без всякого толку; может быть, наши рабы будут в состоянии принести какую-нибудь пользу там, где вы, наши боги, ничего не смогли сделать”. В то же время государственная казна оказалась слишком оскудевшей для выдачи жалованья войскам; на общественное дело пошли частные богатства, причем каждый отдавал все, что имел, и даже сенаторы, а тем более другие состояния и трибы, не оставили у себя ничего из золота, кроме золотых колец, по одному у каждого, и булл, по одной же: жалких знаков достоинства*. Кто перенес бы все это, если бы дело дошло до такой крайности в наше время, когда мы едва переносим настоящее, когда ради пустых забав гистрионам дарят гораздо больше, чем в то время, в годину крайней опасности, было собрано легионам?

Глава XX

Из всех этих бедствий второй пунической войны не было ни одного, заслужившего более сожаления и жалоб, как гибель Сагунта. Этот испанский город, весьма дружелюбный римскому народу, был разрушен за то, что хранил этому народу верность. Ибо Ганнибал, разорвав заключенный с римлянами договор, искал повод побудить их к войне. С этой целью он нагло подверг осаде Сагунт. Когда до Рима дошли об этом слухи, были отправлены к Ганнибалу послы, чтобы убедить его снять осаду. Не удостоенные внимания, послы направились в Карфаген и жаловались там на нарушение договора; но не добившись ничего, возвратились в Рим. Пока все это тянулось, несчастный город, самый богатый, которым больше всего дорожили как Испания, так и Римская республика, был

* Буллами назывались золотые украшения, которые, как отличительные знаки, носили дети знатных фамилий; золотые же кольца носили исключительно сенаторы, всадники и высшие магистраты.



разрушен карфагенянами на восьмом или девятом месяце осады. Ужасно читать о его гибели, а еще ужаснее описывать ее. Однако же, я кратко напомню о ней; она имеет близкое отношение к предмету, о котором идет речь.

Сперва он был изнурен голодом до такой степени, что некоторые употребляли в пищу даже трупы своих близких. Затем, истощив все возможные средства, он, чтобы не быть плененным Ганнибалом, воздвиг сообща громадный костер, и когда костер этот разгорелся, в него бросились все сами и побросали свои семейства, даже закалявая и закаляваясь. И что же, обнаружили как-нибудь себя в этом случае их боги, обжоры и плуты, с жадностью домогающиеся жертвенного тука и дурачащие людей, помрачая их умы мнимыми откровениями в ложных гаданиях? Что сделали они, помогли ли чем-либо наиболее дружественному к римскому народу городу, не дали погибнуть ему, когда он погибал вследствие своей верности? Они же сами присутствовали, несомненно, в качестве посредников, когда он вступал в союз с Римской республикой, заключив с нею договор. И вот, верно храня договор, который заключил, полагаясь на покровительство их, подтвердил честным словом, закрепил клятвой, он подвергся со стороны вероломного врага осаде, взятию, истреблению. Если эти самые боги навели потом бурей и молниями ужас на Ганнибала, когда он был вблизи римских стен, и заставили его отойти, то нечто подобное им следовало сделать и тогда, с самого начала.

Смею заметить, что честнее было бы с их стороны разразиться бурей за друзей римлян, которые погибали за то, что не нарушили клятвы верности, хотя и не получили при этом никакой помощи, чем за самих римлян, которые сражались сами за себя и владели достаточными силами, чтобы противостоять Ганнибалу. Если они были блюстителями римского благоденствия и славы, они должны были не допустить лечь несмываемым пятном на эту славу гибели Сагунта. В противном же случае не глупо ли верить, будто, благодаря их защите, Рим не погиб от руки победителя Ганнибала, когда они не в силах были помочь городу, погибавшему за дружбу с Римом? Если бы население



Сагунта было христианским и претерпело нечто подобное за веру евангельскую, оно не употребило бы против себя ни меча, ни огня, а подвергшись истреблению за эту веру, оно претерпело бы это в той надежде, какую возлагало бы на Христа, в чаянии награды не кратковременной, а беспредельной и вечной. Но эти боги ради того и выставляют себя для почитания, ради того и люди находят нужным почитать их, чтобы никакая опасность не угрожала благополучию в вещах гибнущих и преходящих. Что же ответят нам в защиту этих богов их оборонители и обожатели на вопрос о погибших сагунтянах, как не то же, что и на вопрос о замученном Регуле? Различие в том, что там один человек, а здесь целый город; но в том и другом случае причиной гибели было сохранение клятвы. Ради этого сохранения тот решил возвратиться к врагам, а этот не захотел предаться им.

Итак, сохранение клятвы вызывает гнев богов? Или и при покровительстве богов могут погибать не только отдельные люди, но даже и целые города? Пусть выбирают одно из двух, что хотят. Если этих богов раздражает сохранение клятвы, пусть они ищут для своего почитания клятвопреступников. Если же и при покровительстве их могут под ударами множества тяжких бедствий погибать люди и города, то почитание их совершенно бесполезно для земного счастья. Пусть же перестанут сердиться те, которые думают, что, лишившись культа своих богов, они сделались несчастными. Ведь они могли бы не только при сохранении этого культа, но и при благоприятном к ним отношении богов не только, как теперь, роптать на несчастья, но и так, как тогда Регул и сагунтяне, совершенно погибнуть после ужасных истязаний.

Глава XXI

Далее, в промежуток между второй и последней карфагенской войною, когда, по словам Саллюстия, римляне отличались наилучшими нравами и полнейшим согласием (ибо я многое опускаю, чтобы не давать сочинению



слишком больших размеров), — итак, в это самое время наилучших нравов и полнейшего согласия известный Сципион (я имею в виду Сципиона Африканского, старшего), освободитель Рима и Италии, знаменитый и удивительный завершитель этой самой второй пунической войны, — войны столь ужасной, столь убийственной, столь бедственной, — победитель Ганнибала и покоритель Карфагена, посвятивший, как пишут о нем, с самой юности жизнь свою богам и воспитывавшийся в храмах, — этот Сципион оказался бессильным против обвинений врагов и, потеряв отечество, которому доблестью своею возвратил благоденствие и свободу, провел остаток жизни и умер в линтернском местечке, до такой степени после знаменитого своего триумфа не желая возвращаться в Рим, что, говорят, сделал распоряжение, чтобы даже после смерти его не погребали в неблагоприятном отечестве.

После этого была занесена в Рим Гнеем Манлием, победителем галатов, азиатская роскошь, которая оказалась страшнее всякого врага. Тогда впервые появились медные ложки и драгоценные покрывала; тогда введен был обычай приглашать на пиры певиц и другие беспутные вольности. Но в настоящем случае я более намерен говорить о том зле, которое люди терпят невольно, а не о том, которое они творят сами по доброй воле. Упомянутое мною о Сципионе, что, оказавшись бессильным против врагов, он умер вне отечества, которое освободил, — я упомянул потому, что оно относится к предмету моего настоящего рассуждения, т. е. чтобы показать, что римские божества, почитаемые единственно ради земного счастья, от храмов которых он заставил бежать Ганнибала, не оплатили ему тем же. Но так как Саллюстий утверждает, что нравы того времени были в Риме наилучшими, то я счел нужным упомянуть об азиатской роскоши, чтобы дать понять, что Саллюстий говорит это только по сравнению с другими временами, когда нравы были гораздо хуже и проявлялись в сильнейших разногласиях. Ибо в то же время, т. е. в промежуток между второй и последней карфагенской войною, был издан известный закон Вокония, запрещавший кому бы то ни было делать наследницей своего имущества



женщину, хотя бы даже единственную дочь. Не знаю, можно ли издать или придумать постановление более несправедливое, чем этот закон.

Тем не менее, в этот промежуток между двумя пуническими войнами положение дел было еще довольно сносным. Гибло только войско от внешних войн, но и оно находило утешение в победах; внутри же не свирепствовали, как в другие времена, никакие разногласия. Но вот в последнюю пуническую войну одним натиском другого Сципиона (младшего), получившего за это также прозвище Африканского, была разрушена до основания соперница римской власти; и вслед затем на Римскую республику обрушилась такая масса зол, что счастьем и безопасностью, которые при испорченности нравов и накопили эту массу зла, разрушенный Карфаген, как оказалось, в самый короткий срок повредил Риму гораздо более, чем вредил ему прежде своею долгой враждою.

За весь этот период времени, простирающийся вплоть до Цезаря Августа, который решительно отнял у римлян, причем на взгляд их самих уже не славную, а сварливую и распущенную свободу, все подчинил своей воле и восстановил и возобновил как бы одряхлевшую от болезненной старости республику, — за весь этот период я умолчу о новых и новых, по тем или иным причинам, военных поражениях, и о нумантийском мире, запятнавшем Рим ужасным бесславием (последнее случилось вследствие того, что улетели из клетки куры и дали консулу Манцину, как говорят, худое предзнаменование; как-будто в продолжение стольких лет, в течение которых этот небольшой осажденный городок (Нумантий) с успехом отражал атаки римского войска и начинал уже наводить ужас на саму Римскую республику, другие куры пророчили ему зло).

Глава XXII

Обо всем этом, как я сказал, умолчу; но не умолчу о том, как царь Азии, Митридат, приказал умертвить в один день повсеместно всех римских граждан, которые путе-



шествовали по Азии и в бесчисленном множестве занимались там своими делами; что и было приведено в исполнение. Какая то была жалкая картина, когда вдруг, нечаянно и вероломно убивали всякого, где бы кто ни был найден, в поле, на ложе, на пиру? Какой стоял стон умиравших, какие слезы со стороны зрителей, а может быть, со стороны и самих убивавших? Какая жестокая необходимость для людей, оказывавших гостеприимство, не только видеть в своем доме эти безбожные убийства, но и самим совершать их; от дружественной ласки чело- веколюбия, неожиданно меняя вид, переходить к враждебным во время мира действиям, нанося, могу сказать, взаимные друг другу раны: так как пораженный получал раны в тело, а поражающий — в душу? Неужели и эти все пренебрегли птицегаданием? Разве у них не было ни домашних, ни публичных богов, к которым они могли бы обратиться с вопросом, когда отправлялись с места жительства своего в это безвозвратное путешествие? Если все это так, то у них нет основания жаловаться в этом отношении на наши времена. Римляне издревле пренебрегали такими пустяками. Если же они обращались к богам с вопросами, то пусть скажут нам, чем это помогло?

Глава XXIII

Теперь припомним коротко, насколько можем, те бедствия, которые, поскольку были внутренними, постольку и более достойными сожаления, а именно: гражданские, или, вернее, антигражданские распри, и не только распри, но даже бесстыдные войны, в которых было столько пролито крови, в которых взаимная вражда партий выразились уже не спорами в собраниях и разделениями голосов на ту и другую сторону, а открытым оружием и битвами. Так называемые союзнические войны, войны невольни- ческие, войны гражданские, — сколько пролили они римской крови, какое опустошение и опустение внесли в Италию! Но прежде чем восстал против Рима союзный Лациум, все животные, служащие человеку, как то: собаки,



лошади, ослы, коровы и другие, до того времени покорные человеческой власти, вдруг, одичав и забыв свойственную домашним животным кротость, бросили жилье, стали произвольно бродить туда и сюда и не подпускать к себе не только чужих, но и хозяев, угрожая гибелью или, по крайней мере, опасностью тем, кто осмеливался приближаться к ним. Какого великого бедствия было знаком, если было знаком, такое зло, безусловно, зло немалое, если даже оно и не было знаком? Случись это в наше время, они (язычники) отнеслись бы к нам с большим бешенством, чем их животные — к ним.

Глава XXIV

Начало гражданским войнам положили возмущения Гракхов, вызванные аграрными законами. Они хотели разделить между народом земли, которыми несправедливо владели знатные люди. Но решиться на искоренение застарелой несправедливости было весьма опасно; даже, как показал опыт, в высшей степени губительно. Сколько было совершено похорон, когда был убит первый (Тиберий) Гракх? И сколько потом, когда спустя немного времени был убит другой его брат? И знатных, и незнатных убивали не на основании законов и не по распоряжению властей, а толпою и в вооруженных столкновениях. После умерщвления другого Гракха (Гая), консул Люций Описний, поднявший против него оружие внутри Рима и после захвата и умерщвления его вместе с его товарищами, производивший жестокое истребление граждан, уже потом, когда производил расследование, преследуя остальных судебным порядком, убил, говорят, три тысячи человек. Из этого можно понять, какую массу мертвых могла оставить после себя вооруженная свалка во время народного мятежа, если столько было предано смерти вследствие как бы беспристрастного судебного разбирательства. Убийца самого Гракха продал консулу его голову за столько по весу золота, сколько весила сама эта голова. Условие такого



ода было заключено еще до убийства. Тогда же был убит с детьми и прежний консул Марк Фульвий.

Глава XXV

По определению сената, слишком уж замысловатому, на том самом месте, где произошел этот кровавый мятеж и где пало столько граждан всех состояний, построен был храм Согласия, чтобы, в качестве свидетеля казни Гракхов, колол глаза тем, которые говорили бы речи народу, и язвил их память. Но что это было, как не насмешка над богами, строить храм той богине, которая, если бы присутствовала в городе, последний не подвергся бы разгрому, растерзанный такими раздорами? Разве, быть может, решено было в этом храме, как в тюрьме, заключить богиню Согласия, как виновницу произошедшего злодеяния, за то, что она оставила души граждан? Ибо, если они хотели чего-то более сообразного ходу дела, то почему они не построили там храма Раздору? Или, быть может, было указано какое-нибудь основание тому, почему бы Согласие могло быть богиней, а Раздор — нет, когда по определению Лабеоны первое — богиня добрая, а последнее — злая?

Последний, очевидно, руководствовался тем, что нашел в Риме храмы и Лихорадке, и Здравью. Следовательно, таким же точно образом надлежало построить храм не только Согласию, но и Раздору. Поэтому римляне поступили очень рискованно, решившись иметь раздраженной против себя такую злую богиню, и забыв, что первоначальная причина гибели Трои лежала в ее озлоблении. Ведь это она, подбросив золотое яблоко, учинила ссору между тремя богинями за то, что вместе с другими богами не была приглашена на пир: из-за этой ссоры — вражда между божествами, победа Венеры, похищение Елены, разрушение Трои. Возможно, негодую именно на то, что ее не удостоили в Риме никаким храмом рядом с другими богами, она в то время и подвергла город таким сильным смятениям; насколько же мог усилиться ее гнев, когда на



месте упомянутого кровопролития, т. е. на месте работы ее рук, она увидела храм, построенный ее противнице? Эти ученые и мудрые мужи сердятся, когда мы смеемся над подобными пустяками; тем не менее, однако же, для них, как почитателей богов добрых и злых, вопрос о Согласии и Раздоре остается в силе: или они пренебрегли культом этих богинь и предпочли им Лихорадку и Беллону, которым построили древние капища; или почитали их, когда рассвирепевшая богиня Раздора довела их, с удалением Согласия, даже до гражданских войн.

Глава XXVI

Да, они придумали поистине замысловатое средство против мятежей, противопоставив говорящим речи народу храм Согласия, как свидетеля поражения и казни Гракхов. Сколько принесло это пользы, показывают последующие, гораздо худшие события. Народные вожаки заботились после этого не о том, чтобы избежать образа действий и судьбы Гракхов, а о том, чтобы пойти далее их предположений. Таковы были Люций Сатурнин, народный трибун, и Гай Сервилий, претор, а потом, гораздо позже, Марк Друз. От их возмущений произошли сперва жестокие кровопролития, а затем союзнические войны, нанесшие Италии страшные удары и доведшие ее до разорения и запустения.

Потом последовала война невольническая и войны гражданские. Сколько во время последних было дано сражений, сколько пролито крови для того, чтобы усмирить, будто какую-нибудь варварскую орду, почти все народы Италии, которые по преимуществу и составляли силу Римского государства? Война с рабами была начата весьма малым числом людей, менее чем семьдесятью гладиаторами, — числом, которое превзошло количество императоров римского народа; а между тем, каких она достигла размеров, какой силы и жестокости, сколько и до какой степени опустошила городов и областей, — все это едва ли были в силах передать писавшие историю. И



это не была единственная невольническая война. Еще прежде того была опустошена провинция Македония, а потом Сицилия и приморская сторона. Сколько и каких было при этом совершено ужасных разбойничьих нападений на суше, какие сильные велись затем морские разбойничьи войны, едва ли кто в состоянии описать.

Глава XXVII

Марий уже запятнал себя кровью граждан, умертвив множество людей противной себе партии, когда, будучи побежден, бежал из Рима; но едва (скажу словами Цицерона*) город успел перевести дух, как одержал победу Цинна в союзе с Марием. Вслед затем, после умерщвления знаменитейших мужей, погасли светила государственные. За эту жестокость победителей потом отомстил Сулла; но нет нужды говорить, каким истреблением граждан и каким бедствием для республики сопровождалась эта месть. Об этой мести, которая была гораздо гибельнее, чем безнаказанность злодейств, против которых она была направлена, говорит Лукан:

*Леченье перешло границы, и рука зашла туда,
Преследуя болезни, где не было их прежде...
Покараны преступники. Но если б
Хоть кто-нибудь из них остался жив,
Простор вражде тогда б открылся новый,
И гнев, не сдержанный уже уздой законов,
Рекой широкой хлынул**.*

Кроме тех, которые пали вне Рима в рядах войска, внутри самого Рима во время этой войны Мария и Суллы трупами были наполнены улицы, дворы, площади, театры, храмы; так что трудно было судить, когда победители совершили более убийств: сперва ли, чтобы одержать

* Cic., Orat. III, Catilin.

** Lucan. lib. II.



победу, или после, вследствие того, что победу одержали. Вот победа на стороне Мария, когда он сам возвращает себя из ссылки. За исключением убийств, совершавшихся повсеместно и где ни попадя, кладут на кафедру, с которой говорились речи народу, голову Октавия, консула; Цезаря и Фимбрия убивают в их домах; двух Крассов, отца и сына, закалывают на глазах друг у друга; Бебий и Нумиторий умирают с растерзанными внутренностями, когда их волокут крюками; Катулл избегает рук врагов тем, что принимает яд; Мерула, фламин Юпитера, рассекши жилы, совершает возлияние Юпитеру собственной кровью. На глазах у самого Мария постоянно убивают тех, кому он в ответ на приветствие не желал протягивать руки.

Глава XXVIII

В качестве возмездия за эту жестокость последовала победа Суллы. Но после такого количества крови граждан, пролитием которой она была приобретена, победа эта, — когда война была уже окончена, но жива была еще ненависть, — выразилась в мирное время большими жестокостями. Уже молодой Марий и Карбол, принадлежавшие к партии Мария, к прежним убийствам старшего Мария прибавили новые, еще более жестокие. Когда Сулла только наступал, они, отчаявшись не только в победе, но и в собственном спасении, наполнили все убийствами своих и чужих. Помимо широко и повсюду распространенного кровопролития, был осажден даже сенат, и из самого места его заседаний, будто из тюрьмы, выводили на казнь. Первосвященник Муций Сцевола был убит в то время, когда, считая храм Весты наибольшей святыней римлян, обнимал ее жертвенник: своею кровью он едва не погасил тот огонь, который постоянно горел благодаря неусыпной заботливости дев. Затем вступил в Рим победителем Сулла. На Марсовом поле (месте народных собраний), уже не во время войны, а жестокого мира, он истребил семь тысяч сдавшегося ему и потому безоружного народа, — истребил не в битве с ним, а просто приказав истребить. Да и



Вообще, в Риме всякий сторонник Суллы убивал, кого хотел. Поэтому не было никакой возможности определить количество совершенных убийств. Наконец, Сулле доложили, что следует дозволить некоторым жить, чтобы победителям было кем повелевать. Неистовая свобода убийств, свирепствовавшая повсеместно без разбора, была, таким образом, обуздана.

Ко всеобщей великой радости был обнародован список, содержащий две тысячи имен граждан из двух знатных сословий, всаднического и сенаторского, предназначенных к смерти и изгнанию. Количество внушало тревогу, но определенность успокаивала; уже не столько скорбели о множестве погибавших, сколько радовались безопасности остальных. Но и оставшиеся в этой безопасности вздрогнули, когда узнали, какого рода казням будут подвергнуты те, которые были осуждены на смерть. Ибо одного разрывали руками безо всяких орудий: живого человека люди растерзывали с большим зверством, чем звери — выброшенный труп. Другого, выколов глаза и отсекая один за другим члены, заставляли в таких муках долго жить, или, вернее, долго умирать. Были проданы с публичного торга некоторые знатные города, будто какие-нибудь хутора. А один город был казнен весь, подобно тому, как осуждают на казнь одного преступника. Все это делалось в мирное время; не для того, чтобы ускорить час победы, а для того, чтобы кто-нибудь не вздумал пренебречь победой уже одержанной. На этот раз мир оспаривал жестокость у войны и одержал победу. Война убивала вооруженных, а он — безоружных. Война была для того, чтобы убиваемый, если был в состоянии, сам убивал; а мир — не для того, чтобы избежавший смерти жил, а для того, чтобы умирая — не защищался.

Глава XXIX

Какая жестокость чужих народов, какая лютость варваров может сравниться с этой победой граждан над гражданами? Что было для Рима гибельнее, постыднее, противнее:



Вторжение ли в древнее время галлов и незадолго перед этим — готов, или необузданность Мария и Суллы и других знаменитых с той и другой стороны мужей, украшений общества, совершавших зверства над его же членами? Правда, галлы умертвили сенаторов, сколько сумели отыскать их в целом Риме, за исключением Капитолия, который один был кое-как защищен; но тем, которые жили на капитолийском холме, они предоставили, по крайней мере, возможность выкупить золотом жизнь, которую, если не могли отнять оружием, могли истощить осадой. Галлы же пощадили такое множество сенаторов, что более удивительным оказалось то, что они убили некоторых. Но Сулла еще при жизни Мария занял по праву победителя бывший в безопасности от галлов Капитолий для того, чтобы из него-то и распоряжаться убийствами; а когда Марий спасся бегством, чтобы возвратиться потом более жестоким и более кровожадным, Сулла в самом Капитолии лишил по определению сената жизни и имущества многих. А для сторонников Мария, в отсутствие Суллы, что было такого святого, что пощадили бы они, когда они не пощадили даже Муция, гражданина, сенатора, первосвященника, державшего в своих объятиях тот самый жертвенник, с которым были связаны, как говорят, сами римские судьбы? Наконец, чтобы не говорить о бесчисленном количестве других убийств, один последний список Суллы лишил жизни большее число сенаторов, чем скольких смогли ограбить готы.

Глава XXX

Итак, с каким лбом, с каким сердцем, с каким бесстыдством, с каким неразумием, или, точнее, с каким безумием они во всем описанном своих богов не винят, а в этом последнем* винят нашего Христа? Безжалостные гражданские войны, по признанию их же собственных писателей, более бедственные, чем всякие войны с внеш-

* Т. е. во вторжении готов.



ними врагами, — войны, которые считаются не только подорвавшими, но и совершенно погубившими республику, — все они начались гораздо раньше пришествия Христова, — и по преемственному продолжению преступного дела партий переходили из войн Мария и Суллы в войны Сертория и Катилины, из которых первый был изгнанником, а последний — воспитанником Суллы; потом — в войну Лепида и Катула, из которых один хотел уничтожить, а другой — отстоять дело Суллы; далее, в войны Помпея и Цезаря, из которых первый был последователем Суллы и равнялся с ним или даже превосходил его во власти, а Цезарь власти Помпея не выносил (но не выносил потому, что сам ее не имел: когда же Помпей был побежден и убит, превзошел и Помпея); затем, в войны другого Цезаря, названного впоследствии Августом, во время правления которого родился Христос.

Ибо и Август вел также гражданские войны со многими, и в этих войнах погибло также много знатнейших мужей, среди которых был и Цицерон, известный красноречивый художник по части управления республикой. Причиной было то, что вступившие в заговор якобы ради спасения республиканской свободы некоторые из знатных сенаторов умертвили в месте заседаний сената победителя Помпея, Гая Цезаря, за предполагаемое домогательство им царской власти, — Цезаря, который снисходительно пользовался своею гражданской победой и сохранил жизнь и общественное положение своим врагам. Затем власти Цезаря стал добиваться Антоний, далеко не похожий на него нравами, человек испорченный и запятнавший себя всякого рода пороками. Цицерон усиленно противился ему во имя той же якобы свободы отечества. Тогда выдвинулся замечательно даровитый юноша, другой Цезарь, приемный сын первого Гая Цезаря, названный потом, как я сказал, Августом. С целью выставить в его лице соперника Антонию, Цицерон покровительствовал этому юноше Цезарю. Он надеялся, что, по устранении и уничтожении господства Антония, Цезарь восстановит свободу республики; но оказался до такой степени слепым и непредусмотрительным, что этот же самый юноша, возвеличению и могуществу



которого он содействовал, и самого Цицерона дозволил, как бы по некоторой любовной сделке, убить Антонию, и свободу республики, за которую тот столько ратовал, подчинил игу собственной власти.

Глава XXXI

Пусть же неблагодарные нашему Христу за такие великие блага обвиняют своих богов за столь великое зло. Ведь когда это зло совершалось, когда граждане проливали столько крови граждан повсюду, причем не только где-нибудь на стороне, но и у алтарей этих богов, в то самое время алтари богов пылали огнем и издавали запах сабейского фимиама и свежих гирлянд; священство было в высокой чести; капища поражали блеском; приносились обильные жертвы; давались многочисленные и пышные игры; иступленными наполнялись храмы. Туллий не избрал для себя местом убежища храма, потому что избрал было Муций, и напрасно. Эти же лица, которые с величайшим озлоблением нападают на христианские времена, или искали убежища в местах, посвященных Христу, или были отведены туда самими варварами для сохранения их жизни. Я знаю одно, и в этом легко согласится со мною всякий, кто судит о деле беспристрастно, а именно: если бы перед пуническими войнами (о многом другом, о чем я упоминал, и еще о гораздо большем, о чем я счел нужным, ради краткости повествования, умолчать, я не говорю) род человеческий принял христианство и последовало то страшное разорение, которому во время тех войн подвергались Европа и Африка, то каждый из тех лиц, с которыми мы имеем дело, приписал бы это зло, несомненно, религии христианской. Еще менее удерживали бы они свои языки, если бы, насколько это касается римлян, за принятием и распространением христианства последовали известное вторжение галлов, или опустошение Рима рекою Тибр и пожарами, или упомянутые гражданские войны, превосходящие всякие бедствия.



Даже такие виды зла, которые до того представлялись невероятными, что считались чудесными (prodigia), если бы они случились во времена христианские, кому другому были бы поставлены в вину, как не христианам? Я не буду говорить о тех явлениях, которые были более удивительными, чем вредными, например: о говоривших быках, о детях, которые произносили некоторые слова еще до рождения из чрева матерей, о летавших змеях, о женщинах и курицах, обратившихся в особы мужского пола, и о других того же свойства, о которых рассказывается в их книгах, не баснословных, а исторических, и которые, действительны ли они, или ложны, не причиняют людям гибели, а только вызывают изумление. Но когда падала дождем земля; когда падал дождем мел; когда шел каменный дождь, настоящий каменный дождь, а не град, который обыкновенно называют этим именем, то такие явления действительно наносили сильный вред. Читаем у них же, что от огня Этны, текущего с вершины горы к ближайшему берегу, море кипело до такой степени, что расплавились скалы и растекалась смола на кораблях. И это причиняло немалый вред, хотя и было невероятно и изумительно. Пишут далее, что от того же действия огня Сицилия была покрыта такой массой горячего пепла, что заваленные и подавленные ею кровли города Катаны обрушились; тронутые таким бедствием, римляне освободили в том году город от податей.

Пишут также, что в Африке, когда она была уже римской провинцией, появилась однажды чудовищная масса саранчи. Уничтожив плоды и листья деревьев, она, как рассказывают, огромным и превосходящим всякое описание облаком спустилась в море. Умершая там и выброшенная на берег, она заразила потом воздух и произвела такую страшную моровую язву, что в одном царстве Массиниссы погибло, говорят, восемьдесят тысяч человек, а в ближайших к берегам странах — и того более. В Утике из тридцати тысяч бывших там в то время юношей, как утверждают, осталось в живых только десятеро. Чего из этого, если бы случилось оно во времена христианские, не приписало бы христианской религии то пустословие,



которое мы должны выслушивать и на которое вынуждены отвечать? И однако же, они не приписывают этого своим богам: требуют восстановления культа их для того, чтобы не испытывать даже меньших бедствий подобного свойства, между тем как прежде, когда боги были почитаемы, испытали от них упомянутые, куда большие!



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I

Начав говорить о граде Божием, я счел нужным прежде всего ответить тем его врагам, которые, гоняясь за земными радостями и стремясь к предметам преходящим, за все, что только претерпевают они в этом отношении неприятного, — хотя претерпевают скорее по милосердию вразумляющего, чем по строгости карающего Бога, — порицают христианскую религию, религию единственно истинную и спасительную. И так как они (хотя в их числе находится и невежественная чернь) возбуждаются против нас наибольшей ненавистью на основании якобы научных предпосылок, воображая, будто того, что случается с ними необычного в их время, в другие, прежние времена, как правило не случалось; а те, которые знают ложность их мнений, как бы молчаливо с ними соглашаются, дабы ропот против нас казался справедливым; то, опираясь на те свидетельства, которые их писатели оставили потомству для изучения истории прошлых веков, нужно было показать, что дело обстояло совсем иначе, чем они думают. Вместе с тем, нужно было доказать, что ложные боги, коих они чтити явно, а некоторые и сейчас еще чтут тайно, суть нечистые духи и коварные демоны, — нечистые и коварные до такой степени, что услаждаются своими то ли действительными, то ли вымышленными злодеяниями, повелев прославлять эти злодеяния в дни своих праздников; это для того, чтобы слабая человеческая природа не могла воздерживаться от предосудительных деяний, коль скоро ей представляется для подражания в этом как бы божественный пример.

Это мы и доказали, основываясь не на догадках, а отчасти на свежих примерах, поелику видели и сами, что в честь их богов совершаются подобные вещи, отчасти же на сочинениях тех, которые оставили потомству описание всего этого не в качестве порицания, а для прославления своих богов. Так поступил, например, Варрон,



человек большой учености и пользующийся у них величайшим авторитетом: при составлении своих книг, одних — о предметах человеческих, других же — о предметах божественных, относя одни предметы, соответственно достоинству каждой вещи, к человеческим, другие — к божественным, он поставил сценические игры отнюдь не в разряд вещей человеческих, но именно божественных; хотя, если бы общество состояло только из людей добрых и честных, сценические игры не должны были бы находиться даже и в числе вещей человеческих. Так поступил он, конечно, не по собственному усмотрению, а потому, что, будучи рожден и воспитан в Риме, застал их в ряду божественных предметов. А поскольку в конце первой книги мы вкратце сказали о том, о чем следовало говорить далее, и кое-что из этого изложили в двух последующих книгах, то посмотрим, относительно чего ожидание наших читателей остается еще неудовлетворенным.

Глава II

Итак, мы обещали сказать нечто против тех, которые поражения Римской республики приписывают нашей религии, и рассказать о тех, — какие только и насколько могли припомниться, — бедствиях, которые обрушились на Рим или на находящиеся под его властью провинции, прежде чем запрещены были их жертвоприношения: все эти бедствия они, несомненно, приписали бы нам, если бы наша религия уже и тогда была им известна и запрещала им, как теперь, их святотатственные культы.

Эту задачу мы постарались выполнить во второй и третьей книгах, во второй — когда говорили о зле нравственном, которое следует почитать злом или единственным, или величайшим, а в третьей — когда шла речь о бедствиях, которых одних страшатся люди глупые (т. е. о бедствиях телесных и внешних, которые весьма часто терпят и люди добродетельные); между тем как то зло, которое делает их самих злыми, они переносят не только терпеливо, но и охотно. И как мало сказали мы



об одном только Риме и его империи! — далеко не все даже из времен, предшествовавших Цезарю Августу. А что было бы, если бы я захотел припоминать и перечислять не те бедствия, которые причиняют люди друг другу, каковыми являются опустошения и разгромы воюющих, а те, которым подвергается земная жизнь от действия мировых стихий; чего слегка касается Апулей в одном месте своего сочинения “О мире”, говоря, что все земное подвержено изменениям, превращениям и разрушениям? Он говорит (воспользуюсь его же словами), что в результате мощных землетрясений разверзалась земля и были поглощены города вместе с их жителями; что внезапными дождями были смыты целые области; что такие области, которые прежде были континентами, обращены были в острова, а другие, вследствие понижения (уровня) моря, сделались удобопроходимыми для пешеходов; что ветрами и бурями были разрушены города; что облака производили пожары, от которых гибли испепеленные ими восточные страны, а страны западные подвергались подобным же катастрофам от воды, просачивавшейся из земли и затоплявшей местности; что из разверзшихся на вершинах Этны кратеров под действием небесного огня устремились некогда по ее склонам потоки огненных рек. Если бы я захотел перечислять эти и подобные им бедствия, о которых рассказывает история, окончил ли бы я когда-нибудь повествование о том, что случалось в те времена, когда религия Христа еще не обуздывала их суетных и губительных для истинного спасения верований?

Я обещал также показать, за какие их нравы и по какой причине истинный Бог, во власти Которого находятся все царства, благоволил споспешествовать увеличению их империи; и как мало оказали им помощи, или лучше, как много повредили им своею ложью и обманом те, кого они считают богами. Об этом я считаю нужным говорить теперь. Преимущественно же буду говорить о расширении Римской империи. Ибо о том, сколько зла причинила их нравам вредная лживость демонов, которых они почитают богами, мною немало уже было сказано во второй книге. Во всех же трех оконченных книгах, где это представлялось



добным, мы старались указывать, сколько и каким именно образом посредством имени Христова, которому варвары вопреки военным обычаям воздавали так много уважения, — сколько и каким образом среди бедствий войны оказал помощи добрым и злым Бог, Который заставляет Свое солнце светить на добрых и злых и попускает идти дождям на праведных и неправедных (Мф. V, 45).

Глава III

Итак, рассмотрим теперь, как много дерзости в том, что обширность и долговременность существования Римской империи они приписывают этим своим богам, почитать которых совершением мерзких игр через мерзких же людей они считают даже делом благопристойным. Но прежде я хотел бы исследовать, насколько основательно и благоразумно хвастаются они величием и обширностью империи, коль скоро нельзя считать счастливыми людей, которые постоянно живут в мрачном страхе и с кровавыми инстинктами среди бедствий войны и потоков крови, — сограждан ли то, или врагов, но все же людей, — чтобы приобрести минутную, светящуюся непрочным блеском радость, находясь при этом в постоянном опасении, как бы внезапно ее не утратить.

Чтобы нам было легче обсудить этот предмет, не будем вдаваться в пустую напыщенность и утомлять внимание читателей громкими словами, вроде: “народы”, “царства”, “провинции”, а возьмем двух отдельных людей, ибо каждый отдельный человек, как буква в предложении, представляет собою своего рода элемент государства, как бы обширно оно ни было. Из них одного вообразим себе бедным, или еще лучше — человеком посредственного состояния, а другого — весьма богатым; но богато удрученным страхами, снедаемым печалью, обуреваемым желаниями, не имеющим ни минуты спокойствия и душевного мира, живущим в атмосфере постоянных враждебных споров, умножающим цену этих несчастий свое имение до бесконечности, и с умножением его, умножающим самые тяжкие заботы;



человека же посредственного состояния — довольствующимся своими малыми и скудными пожитками, милым для семьи, живущим в мире с родственниками, соседями и друзьями, религиозно благоговейным, приветливым характером, здоровым телом, бережливым в жизни, чистым в нравственном отношении и спокойным в своей совести.

Не знаю, будет ли кто-нибудь настолько сумасброден, чтобы усомниться, кому из них отдать предпочтение. Но как применимо это к двум отдельным людям, так и к двум семействам, к двум народам и к двум государствам; проводя такую параллель, мы весьма легко увидим, если будем наблюдательны, где находится суетность и где — счастье. Поэтому, когда почитается истинный Бог и Ему воздается поклонение действительными священнодействиями и добрыми нравами, бывает полезно могущественное и долговременное управление людей добродетельных. И полезно оно не столько для них самих, сколько для тех, кем они управляют. Что касается их самих, то для истинного их счастья, в котором хорошо проводится и настоящая жизнь, и получается потом жизнь вечная, достаточно благочестия и честности, представляющих собою великие дары Божии.

Итак, в настоящем мире царствование людей добродетельных полезно не столько для них самих, сколько для благосостояния их подданных. Напротив того, царствование злых вредно более всего для самих царствующих, которые губят свои души необузданностью пороков; тем же, которые находятся под их властью, ничто не вредит, кроме их собственной порочности. Ибо, какое бы зло праведники ни претерпевали от несправедливых властителей, зло это представляет собою не наказание за преступление, а испытание добродетели. Поэтому человек добродетельный, хотя бы он и находился в рабстве, свободен; напротив, злой, хотя бы он и царствовал, раб; и раб не одного человека, а что гораздо хуже — столько господ, скольким порокам он подвержен. Св. Писание говорит, рассуждая об этих пороках: “Кто кем побежден, тот тому и раб” (II Пет. II, 19).



Глава IV

Итак, при отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть ничто иное, как государства в миниатюре. И они также представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне усваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно ответил Александру Великому один пойманный пират. Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: "Такое же, какое и ты; но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором".

Глава V

Не спрашиваю, каких людей набрал себе Ромул: этим людям принесло великую пользу то, что получив права гражданства после своей разбойничьей жизни, они перестали думать о тех наказаниях, страх перед которыми понукал их на еще большие злодеяния; так что они сделались более мирными в отношении к условиям человеческой жизни. Остановлюсь на том, что саму Римскую империю, ставшую великой благодаря покорению многих народов и сделавшуюся грозной для остальных, заставило испытать горькое чувство, сильный страх и много потрудиться, чтобы избежать жестокого поражения. Это было тогда, когда несколько убежавших с игр в Кампании гладиаторов набрали многочисленное войско, поставили трех вождей и начали опустошать Италию со свирепой жестокостью. Пусть скажут, какой бог помог им из сос-



гоiania маленькой и презренной разбойничьей шайки перейти в разряд как бы государства, которого пришлось страшиться римлянам со столькими их армиями и крепостями? Уж не скажут ли, что они не пользовались помощью свыше, потому что существовали недолго? Но разве жизнь каждого отдельного человека продолжительна? В таком случае боги никому не помогают в достижении могущества, потому что каждый человек живет весьма недолго, и не следует считать благодеянием того, что в каждом отдельном человеке, а отсюда — и во всех людях, за короткое время исчезает подобно пару.

Какая, в самом деле, польза людям, почитавшим богов при Ромуле и давно умершим, в том, что после их смерти Римское государство достигло великого могущества, когда сами они давно рассчитываются в преисподней за свои личные дела (хорошие ли, или дурные, это к настоящему предмету не относится)? А так следует думать и относительно всех тех, которые в течение своего короткого существования скользнули быстро исчезающею тенью по Римскому государству (хотя само оно не переставало существовать в преемственной смене умирающих живыми), унося с собою бремя своих деяний. Если же благодеяния и этих кратковременных существований должны быть приписаны помощи богов, то немалую помощь оказали они и тем гладиаторам, которые свергли с себя оковы рабства, бежали, собрали многочисленное и весьма сильное войско и, повинаясь советам и приказаниям своих вождей, сделались весьма страшными для римского величия, а для стольких римских полководцев — непобедимыми, многое захватив в свои руки; одержав же множество побед, предавались удовольствиям, каких желали; делали, что внушала похоть, и жили подобно царям, пока, наконец, с величайшим трудом не были побеждены. Но перейдем к примерам более значительным.



Глава VI

Юстин, который, следуя Трогу Помпею, не только, подобно ему, написал на латинском языке греческую или, лучше сказать, всемирную историю, но сделал из нее и определенные сокращения, начинает свое творение так: “От начала мира власть над областями и народами имели цари, которым право на это верховное достоинство давала не тщеславность народов, а испытанная в глазах добродетельных людей умеренность. Народы не имели никаких законов: законом для них служила воля государей. В обычае было скорее защищать границы государства, нежели расширять их; границы эти находились внутри родной для каждого отчизны. Нин, царь ассирийский, первым из всех нарушил, вследствие жадности к власти, этот старинный и как бы прародительский для народов обычай. Он первый начал воевать с соседями и до самых пределов Ливии покорил неискусные еще в защите народы”. И несколько дальше: “Обширность приобретенного господствования Нин упрочил непрерывностью обладания. Итак, покорив соседние народы, он с увеличенными силами и мужеством переходил к другим, и так как каждая новая победа была средством для последующей, покорил народы всего Востока”.

Какова бы ни была степень правдивости, с которою писали Юстин или Трог (некоторые, более заслуживающие доверия источники показывают, что они кое-что приврали), известно, однако, на основании книг других писателей, что царство Ассирии было весьма расширено царем Нинном. Оно существовало так долго, что Римское государство пока не может еще сравняться с ним своими годами. Ибо, как показывают писатели исторической хронологии, царство это существовало 1240 лет, считая с первого года царствования Нина и до тех пор, пока оно не перешло к мидийцам. Но нападать на соседей и, покорив их, двигаться дальше, сокрушать и покорять безобидные народы единственно из побуждений властолюбия — как назвать это, как не величайшим разбоем?



Глава VII

Если это государство сделалось столь великим и властвовало столь продолжительно безо всякой помощи богов, то почему же римским богам приписывается заслуга в деле расширения и долговременности существования Римской империи? Ибо какой бы ни была причина (могущества) там, та же самая она и здесь. А если скажут, что (могущество) и того государства должно быть приписано помощи богов, то спрашиваю: чьих? Ибо и те другие народы, которых покорил и подчинил Нин, почитали отнюдь не других богов. А если ассирийцы имели богов особых, которые были некоторым образом искуснее в созидании и сохранении государства, то разве эти боги умерли, когда ассирийцы потеряли свою власть, или, не получив ожидаемой награды или получив обещание награды большей, предпочли перейти к мидийцам, а от них — к персам, куда переманил их Кир более выгодным предложением? Последний народ, пережив обширную, но кратковременную монархию Александра Македонского, продолжает царствовать и доселе, занимая немалые пространства на Востоке.

Если это так, то боги или вероломны, если оставляют своих и переходят к врагам (чего не сделал даже человек Камилл, когда, будучи победителем и завоевателем неприятельского города, встретил со стороны Рима, для которого одержал победу, неблагодарность, и тем не менее, забыв эту несправедливость и радея об отечестве, освободил его впоследствии от галлов), или не настолько сильны, как подобает быть сильными богам, и потому могут быть побеждены политикой или силой людей. Но, может быть, боги ведут войны между собою и побеждаются не людьми, а другими богами, которых то или другое государство считает своими: следовательно, они враждуют между собою. В таком случае государство не должно почитать своих богов более, чем чужих, если те являются союзниками их богов.

Наконец, чем бы мы это не сочли: изменой ли богов, или их бегством, или переселением, или поражением в



ражении, во всяком случае в те времена и в тех странах имя Христа еще не было проповедано, когда упомянутые царства в результате страшных военных разгромов были разрушены или перешли во власть других. Между тем, если бы в то время, когда у ассирийцев по истечении тысячи двухсот с лишним лет отнято было царство, христианская религия уже проповедовала там о ином, вечном царстве, и воспрещала святотатственное почитание ложных богов, — разве не сказали бы суетные люди того народа, что их столь долго существовавшее государство погибло именно потому, что их религии были оставлены и принята религия христианская? Пусть в этом предположительном голосе суеты римляне слышат выражение собственного мнения и пусть стыдятся подобных жалоб, если есть еще в них сколько-нибудь стыда. Впрочем, Римское государство скорее расстроено, чем разрушено; подобное случалось с ним и в прежние времена, до христианства, и оно от такого расстройтва оправлялось. Не следует отчаиваться в этом и теперь. Ибо кто знает относительно этого волю Божию?

Глава VIII

Посмотрим, далее, если угодно, какой или какие из этой толпы богов, которых римляне почитали, более всего, по их мнению, расширяли и сохраняли их империю? Ведь не посмеют же приписывать они какого-либо участия в этом столь прекрасном и величественнейшем деле богине Клоацине, или Волюпии, названной так от чувственного удовольствия (*voluptas*), или Либентине, имя которой происходит от слова похоть (*libido*), или Ватикану, который заведует воплями (*vagitus*) младенцев, или Кунине, охраняющей их колыбели (*cupa*). Но возможно ли в одном месте этой книги припомнить все имена богов или богинь, которые они едва смогли вместить в целые огромные тома, приурочивая к каждой отдельной вещи специальное божество? Даже охранение сел они не сочли возможнымверить какому-либо одному богу, но над деревьями (*tura*) поставили богиню Рузину, над вершинами (*juga*) гор —



бога Югатина; над холмами (*collis*) — богиню Коллатину, над долинами (*vallum*) — Валлонию. Не выдумали они даже такой Сегети, которой одной смогли бы вверить свои жатвы (*segetes*); но посеянные семена, доколе они находятся в земле, подлежат, по их мнению, ведению богини Сейи, а когда выходят из-под земли и образуют жниво (*seges*) — богине Сегети; наконец, когда хлеб обмолочен и убран, безопасная сохранность (*tutum*) его поручалась богине Тутилине.

Кто бы мог подумать, что пока семена выходят из земли травкой и дают спелые колосья, недостаточно одной Сегети? И, однако же, для людей, которые любят множество богов, чтобы бедная душа, презрев чистое общение с единым истинным Богом, была отдана на поругание толпе демонов, одной Сегети было недостаточно. К зеленым всходам семян они приставили Прозерпину; к коленам и узлам (*nodus*) стеблей — бога Нодута; к покровам (*involumenta*) колосьев — богиню Волютину; когда же покровы раскрываются (*patesco*), чтобы дать выход колосьям, их поручали богине Пателяне; когда нивы покрываются новыми колосьями — богине Гостилине, так как, покрываясь новыми, этим они возмещают (*hostire*) старые; зацветшие (*florens*) жатвы вверяли богине Флоре; наливающиеся (*lactesco*) — богу Ляктурну; поспевающие (*maturo*) — богине Матуре; сжинаемые (*gipco*) — богине Рунцине.

Не упоминаю всего, поелику то, чего не стыдятся они, на меня нагоняет скуку. Это же весьма немного сказано мною с целью показать, что они никоим образом не могут говорить, будто Римскую империю основали, расширили и сохраняли те божества, из коих каждому назначалась специальная обязанность, так что никому из них не поручалось общее дело. Действительно, как было Сегети думать о государстве, когда ей не позволено было смотреть вместе с жатвами и за деревьями? Как было думать Кунине о сражениях, когда ей нельзя было отходить от порученных ей колыбелей младенцев? Каким бы образом Нодут стал помогать в войне, когда он имел отношение только к коленам ствола, и никакого — к покровам колосьев?



Каждый к своему дому приставляет только одного привратника, и так как он человек, его вполне достаточно; но они поставили трех богов: Форкула к дверям (fores), Кардею к петлям (cardo), Лиментина к порогу (limentum). Таким образом, Форкул не мог в одно и то же время охранять ни петель, ни порога.

Глава IX

Итак, оставив вовсе или отложив на время эту толпу мелких богов, мы должны рассмотреть деятельность богов главнейших, благодаря которой Рим сделался столь могущественным, что долгое время повелевал многими народами. Без всякого сомнения, это — дело Юпитера. Его считают они царем всех богов и богинь; именно это означает его скипетр и Капитолий на высоком холме. Об этом боге, говорят, сказано вполне удачно, хотя и поэтом:

Все полно Юпитером.*

Варрон думает, что его почитают и те, которые поклоняются единому Богу, не представляя его под видимым образом, но только называют иным именем. Если это так, то почему же в Риме (а также и у других народов) чтили его так плохо, что устроили ему идола? Это и самому Варрону так не нравилось, что хотя он и заражен был нечестивым обычаем Рима, однако, нисколько не колеблясь, говорил и писал, что те, которые повелели народам ставить идолов, уменьшили страх (к богам) и увеличили заблуждения.

Глава X

Но зачем к нему присоединяется в качестве жены Юнона, которая называется и сестрою его, и супругой**?

* Virg. Eclog. III, v. 60.

** Virg. Aeneid. I, v. 47.



атем, отвечают, что Юпитера мы ощущаем в эфире, а Юнону — в воздухе; эти две стихии соединены вместе, хотя из них одна выше, а другая ниже. В таком случае не о нем сказано:

Все полно Юпитером,

если некоторую часть (мира) наполняет и Юнона. Или тот и другой наполняют обе стихии, и супруги эти находятся в обеих стихиях, в каждой из них вместе? Зачем же, в таком случае, эфир отводится Юпитеру, а воздух Юноне? Наконец, достаточно было бы этих двух: зачем же тогда море отдается Нептуну, а земля Плутону? В свою очередь, не остаются без супругов и эти последние: Нептуну придается Салаяция, а Плутону — Прозерпина. Это, говорят, потому, что как низшей частью неба, т. е. воздухом, заведует Юнона, так низшею частью моря — Салаяция, низшею же частью земли — Прозерпина. Они стараются исправить басни, но не находят способа. Ведь если бы это было так, то предки их указали бы на три стихии, а не на четыре, чтобы каждой стихии приурочить по особой паре богов. В настоящее время окончательно решено, что одно дело эфир, и совсем другое — воздух. Но вода, верхняя ли, или нижняя, все равно вода: пусть она и разная, но настолько ли, чтобы не быть водою? И нижняя земля, чем может быть иным, как не землею же, как бы ни отличалась она (от верхней)?

Но пусть из этих трех или четырех стихий состоит весь телесный мир: где же тогда поместить нам Минерву? чем будет заведовать она? что собою наполнять? Ведь вместе с ними помещается в Капитолии и она, хотя не дочь ни того, ни другой. Или, быть может, скажут, что Минерва заведует верхней частью эфира, и что именно поэтому поэты придумали, будто она рождена из головы Юпитера: в таком случае почему же не почитать ее царицей богов, так как она выше и Юпитера? Уж не потому ли, что дочь неприлично предпочитать отцу? Тогда почему не соблюдена эта справедливость по отношению к отцу Юпитера — Сатурну? Потому ли, что последний был побеж-



жен? Выходит, они сражались? Нет, говорят, это все басни. Значит, басням не следует верить и о богах нужно мыслить лучше. Тогда почему не отведено отцу Юпитера если не высшее, то, по крайней мере, равное место? Потому, говорят, что Сатурн означает собою протяженность времени. Итак, те, которые почитают Сатурна, почитают время; выходит, что царь богов, Юпитер, рожден во времени. Да и почему неприлично сказать, что Юпитер и Юнона рождены во времени, если он — небо, а она — земля, когда небо и земля, несомненно, созданы?

Так говорят в своих книгах их ученые и мудрецы; и Вергилий основывается не на поэтических вымыслах, а на философских книгах, когда говорит:

*В то время Эфир всемогущий животворящим дождем
На лоно супруги веселой пролился*,*

т. е. на лоно теллуры, или земли. Но и в этом случае, на их взгляд, есть некоторое различие: и в самой земле, по их мнению, одно дело — Земля, иное — Теллура, иное же — Теллумон. И всех их они считают богами, имеющими каждый свое имя, наделяют особыми обязанностями, почитают отдельными алтарями и культурами. Ту же самую Землю называют и матерью богов; так что поэты в своих вымыслах являются даже более умеренными, чем они, коль скоро по их не поэтическим, а священным книгам, Юнона оказывается не только сестрой и супругой, но и матерью Юпитера. Ту же самую землю считают они еще Церерою, а также и Вестою; хотя чаще утверждают, что Веста — это огонь, содержащийся в очагах, без которых не может существовать государство; а девы потому, собственно, и прислуживают обыкновенно огню, что как от девы, так и от огня не рождается ничего. Уничтожить и искоренить все это пустое суеверие должен был Тот, Кто родился именно от Девы. Кто, в самом деле, помирится с тем, что, приписывая столько чести и как бы чистоты огню, они не краснея называют иногда Весту и Венерой,

* Virg. Georg. II, v. 325, 326.



ак что почтенное девство ее служительниц оказывается никчемной вещью?

Действительно, если Веста — Венера, то на каком основании должны были служить ей девы, сохраняющие свое целомудрие? Или есть две Венеры, одна дева, другая женщина? Или даже три: одна — для девственниц (она же и Веста), другая — для замужних женщин, третья — для развратниц? Этой последней финикийцы приносили в дар даже девство своих дочерей, прежде чем они выходили замуж. Которая же из них жена Вулкана? Конечно, не девственница, поелику имела мужа. А чтобы не причинить обиды сыну Юноны и соратнику Минервы, пусть будет она и не развратница. Итак, значит — замужняя; но нам не хотелось бы, чтобы ей подражали в том, что проделывала она с Марсом. Опять, скажут, ты возвращаешься к басням. Но разве справедливо сердиться на нас за то, что мы говорим об их богах подобные вещи, а на себя самих за то, что в театрах они смотрят на эти преступления своих богов с величайшим удовольствием, не сердиться? А между тем, все эти сценические представления преступлений богов их установлены в честь тех же самых богов; что было бы невероятным, если бы не подтверждалось неопровержимейшим образом.

Глава XI

Затем, пусть они сколько угодно доказывают на основании естественных законов и своих собственных соображений, что Юпитер представляет собою лишь душу настоящего телесного мира, которая наполняет собою и движет эту мировую массу, составленную и сплоченную из четырех или скольких им угодно стихий; что он то уступает из нее некоторые части сестре и братьям, то представляет собою эфир, сверху объемлющий воздух, разлитый под ним, т. е. Юнону, то вместе с воздухом сам представляет собою целое небо, а землю оплодотворяет как супругу и мать (это в божественных отношениях не считается гнусным) животворящими дождями и семенами, то, наконец



нам нет нужды распространяться об всем этом), является богом единым, о котором, по мнению многих, сказано знаменитым поэтом:

*Шествует бог по пространствам земли и глубинам
морским,
По необъятному небу*.*

Пусть в эфире он — Юпитер; в воздухе — Юнона; в море — Нептун; в глубинах морских — Салаяция; в земле — Плутон; в глубинах земли — Прозерпина; в домашних очагах — Веста; в печи кузнецов — Вулкан; в светилах небесных — солнце, луна и звезды; в прорицателях — Аполлон; в торговле — Меркурий; в Янусе — начинатель; в Термине — довершитель; Сатурн — во времени; Марс и Беллона — в войне; Либер — в виноградниках; Церера — в хлебных посевах; Диана — в лесах; Минерва — в науках и искусствах.

Пусть он же будет и в этой толпе своего рода богов-плебеев: под именем Либера пусть заведует мужским семенем, а под именем Либеры — семенем женским; пусть будет Диеспитером, который плод выводит на свет (dies); пусть он же будет Менюю, заведующею месячными очищениями женщин; пусть он же — Люциана, которую призывают мучающиеся родами; пусть он же подает помощь (ops) рождающимся, принимая их на лоно земли, и называется Опою; пусть он же открывает для крика уста их и называется богом Ватиканом; пусть сам же поднимает (levo) их с земли и называется богинею Леваной; пусть сам же охраняет колыбели и называется богинею Куной; пусть он же, а не кто другой, под видом тех богинь, которые предсказывают судьбы рождающихся, называется Карментами; пусть заведует жребиями и называется Фортуной; пусть под видом богини Румины влагает младенцу сосцы, так как сосцы у предков назывались guta, под видом богини Потины дает им питье (potio), в лице богини Эдуки питает их; пусть называется Павентией от перепуга

* Virg. Georg. VI, v. 221, 222.



правор) младенцев; Венилией от приходящей (venio) надежды; от удовольствия — Волюпией; от действия — Агенорой; от возбуждений (stimula), которые располагают человека к чрезвычайным действиям, богиней Стимулой; богиней Стренией от того, что делает человека проворным (stenuus); Нумерией, учащей считать; Каменной, учащей петь; пусть он же будет и богом Консусом, и подает советы; и богиней Ювентой, которая после отрочества охраняет первые начатки юношеского возраста; пусть он же будет и Фортуной Барбатой, которая покрывает бородою взрослых (им не захотели оказать той чести, чтобы, какое бы божество там ни было, назвать его, по крайней мере, мужским именем, хоть бы от бороды, например, Барбатом, как Нодут — от коленец; или же не Фортуной, а Фортунатом, потому что носит бороду); пусть он же в боге Югатине соединяет супругов; пусть призывается, когда развязывают пояс новобрачной, и называется богиней Виргиниенсией; пусть он же будет Мутуном или Тутуном, который — то же, что у греков Приап.

Пусть, если им не стыдно, всех этих богов, о которых я сказал, а также и тех, о которых не сказал (не думаю, чтобы нужно было говорить обо всех), — пусть всех их, и богов, и богинь, представляет собою один Юпитер: пусть все они суть или его части, как думают некоторые, или же его силы, как думают те, которым угодно называть его душою мира, — мнение, разделяемое многими великими учеными. Если это так (не вхожу пока в исследование, каково это мнение), то что потеряли бы они, если бы почитали с благоразумным устранением излишеств единого Бога? В самом деле, что было бы обойдено в нем, если бы именно его и почитали? Если приходилось бояться, чтобы не разгневались обойденные и забытые его части, то вся эта жизнь не имела вида жизни одного, как они думают, живого существа, в котором бы все боги находились или как его силы, или как члены, или как части. Каждая часть имела бы свою, отдельную от прочих частей жизнь, коль скоро одна могла гневаться независимо от другой, одна могла умиловать, другая — раздражаться. Сказать же, что все части вместе, т. е. весь Юпитер целиком



ог оскорбиться, если не почитались его части поодиночке и в отдельности каждая, значило бы сказать глупость. Ни одна из этих частей не была обойдена, если бы чтили его одного, заключающего в себе все.

Ведь и теперь, когда они говорят, например (опускаю многое другое), что светила — суть части Юпитера, что все они живут, имеют разумные души и потому несомненно суть боги; разве они не видят, как многих из них не почитают, как многим не строят храмов, не воздвигают алтарей, хотя незначительному их числу воздвигать алтари и приносить особые жертвы и сочли необходимым? Итак, если светила, которых не почитают особо, за это гnevаются, то почему же они, умиловивля немногих, не боятся жить под целым разгневанным небом? Если же звезды чтутся все, потому что они — в Юпитере, которому воздается поклонение, то таким же сокращенным порядком можно было бы поклоняться и всем в нем одном. В таком случае не разгневалась бы ни одна из них, так как не была бы обойдена в нем ни одна, — не разгневалась бы гораздо вернее, чем теперь, когда, при почитании только некоторых из них, дается справедливый повод гневаться тем, и притом многочисленнейшим, которые обойдены почитанием; и это тем более, что им, блистающим с высоты небес, предпочитается стоящий в гнусной наготе Приап.

Глава XII

Что же? Неужели это не должно смущать людей, наделенных пронизательным умом; более того, каких бы то ни было людей вообще? Ибо не требуется большого ума, чтобы, став на беспристрастную точку зрения, понять, что если Бог есть душа мира, а мир представляет собою тело этой души, так что получается одно живое существо, состоящее из тела и души; и что если этот Бог, как бы в некоем своем естественном лоне, содержит в себе все, так что из Его души, оживляющей всю эту громаду, истекают и жизнь, и душа всего живущего по роду каждого рождающегося, то не остается решительно ничего,



что не было бы частью Бога. А если это так, то кому не видно, какие нечестивые и кощунственные следствия вытекают отсюда? Всякий, например, попирая что-либо ногами, попирает часть Бога, при каждом убийстве животного убивает часть Бога. Не хочу говорить всего, что может приходить на ум, но не может быть высказано в силу естественной стыдливости.

Глава XIII

Если же говорят, что только разумные животные, например, люди, суть части Бога, то я не понимаю, каким образом отделяют они от Его частей животных неразумных, коль скоро Бог — весь мир? Впрочем, зачем препираться нам из-за этого? В рассуждении самого разумного животного, т. е. человека, что может быть несчастнее мысли, что когда наказывается дитя, наказывается Бог? Кто, кроме совершенно безумного, может также допустить, что части Бога бывают похотливыми, несправедливыми, нечестивыми и заслуживающими всякого осуждения? Наконец, из-за чего гневается Бог на тех, которые не чтут Его, когда не чтут Его Его же части? Остается им, таким образом, сказать, что все боги имеют свою собственную жизнь, что каждый из них живет сам по себе и что ни один из них не составляет части другого; но что почитать следует тех из них, которых можно знать и почитать; потому что их так много, что знать и почитать всех нет никакой возможности. А так как над всеми богами начальствует в качестве царя Юпитер, то думаю, что по их мнению именно он основал и увеличил Римское царство. Ибо, если это сделано не им, то кто другой из богов мог, на их взгляд, выполнить столь великое дело, когда каждый из этих богов занят своими обязанностями и делами и не вмешивается в обязанности и дела других? Итак, царство людей мог распространить и увеличить только царь богов.



Глава XIV

Но, спрашивается, почему и само государство не есть какой-нибудь бог? Почему бы это было не так, если есть богиня Победа? Или зачем нужен в этом случае Юпитер, если Победа бывает благосклонна, милостива и всегда является на помощь к тем, которых она́ хочет сделать победителями? При благосклонности и благоволении этой богини, пускай Юпитер даже бездействует или делает что-либо другое, — какие народы не будут побеждены, какие устоят царства? Или, может быть, добрым людям не нравится воевать по причинам несправедливым и пустым и ради расширения государства произвольно вызывать на войну соседей, живущих спокойно и совершенно безобидно? Если они мыслят именно так, я их вполне одобряю и хвалю.

Глава XV

Пусть, в самом деле, размышлят, действительно ли следует людям добрым радоваться расширению государства. Несомненно, что возрастанию государства способствовала несправедливость тех, с которыми велись справедливые войны. Государство неизбежно оставалось бы малым, если бы спокойствие и справедливость соседей не вызывали никакую обидой войны против них; и при более счастливых условиях человеческой жизни все государства оставались бы малыми, наслаждаясь дружелюбием соседей, так что в мире было бы так же весьма много государств разных народов, как в городе весьма много домов разных граждан. Поэтому вести войны и путем покорения народов расширять государство представляется делом хорошим для людей дурных, но для добрых — это только дело необходимости. Может это быть названо и делом хорошим, но только потому, что было бы хуже, если бы люди более несправедливые господствовали над более справедливыми. Но не подлежит сомнению, что иметь доброго и мирного соседа — большее счастье, нежели подчинять соседа плохого и



воинственного. Желание ненавидеть или бояться кого-нибудь, чтобы было кого побеждать, желание дурное.

Но как бы там ни было, если римляне смогли создать столь великое государство, ведя справедливые войны по причинам законным и серьезным, то не следовало ли им почитать и чужую несправедливость в качестве какой-нибудь богини? Ведь мы видим, что эта несправедливость немало содействовала расширению их империи, вызывая на противозаконные действия людей, чтобы было с кем вести войны и через то увеличивать государство. Почему же и несправедливость, по крайней мере — несправедливость иноземных народов, не может быть богиней, если Испуг, Страх и Лихорадка удостоились быть римскими богами? Таким образом, Римское государство увеличилось благодаря этим двум, т. е. чужой несправедливости и богине Победе, при полном бездействии Юпитера: несправедливость давала причины к войне, а Победа приводила эти войны к счастливому концу. Да и какое участие мог иметь в этом случае Юпитер, когда то, что можно было бы назвать его благодеянием, само считалось, называлось и почиталось богом и призывалось само по себе? Он принимал бы в этом участие в том только случае, если бы назвался Государством, подобно тому, как та называлась Победой. Или, если государство представляет собою дар Юпитера, то почему не считалась его же даром и победа? Так, конечно, и было бы, если бы в Капитолии находился и был предметом почитания не камень, а истинный Царь царствующих и Господь господствующих (Апок. XIX, 16).

Глава XVI

Я только крайне удивляюсь, почему, назначив отдельных богов для каждой вещи и для каждого почти явления, призывая богиню Агенору, чтобы она вызывала деятельность, Стимулу, чтобы возбуждала к деятельности даже чрезмерной, Мурцию, чтобы она сверх меры не возбуждала, но делала человека, по выражению Помпония, *turcidum*, т. е. совершенно ленивым и бездеятельным, Стреную,



чтобы делала проворным; почему, отправляя всем этим богам и богиням публичные культы, они Квиете, которой молились, чтобы она делала человека спокойным (quietum), не захотели совершать культа публично, построив ей храм за коллинскими воротами. Не было ли это признаком беспокойного духа? Или, лучше, не то ли оно именно и означало, что усердно чтивший эту толпу не богов, а демонов, не мог иметь того покоя, к коему призывает истинный Врач, говоря: “Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим” (Мф. XI, 29)?

Глава XVII

Может быть, нам скажут, что богиню Победу посылает Юпитер, и она, повинувшись ему, как царю, идет к тем, к кому он велит, и принимает их сторону? Это верно, но не относительно Юпитера, которого они рисуют в своем воображении царем богов, а относительно того истинного Царя веков, Который посылает не Победу, не имеющую никакой субстанции, а ангела Своего, и делает победителем того, кого хочет; советы Которого могут быть сокровенными, но несправедливыми быть не могут. Ведь если победа — богиня, то почему не бог триумф, и почему он не соединен с победой или как муж, или как брат, или как сын? Поистине, о своих богах они измыслили такие вещи, которые, если бы они были выдуманы поэтами, а нами подвергнуты рассмотрению, они сами назвали бы выдумками, достойными смеха, но не применимыми к истинным божествам; но так как подобные бредни они вычитали не у поэтов, а почитали в храмах, то и не смеялись над собою. Итак, они должны были обращаться с просьбами обо всем к Юпитеру и молиться ему одному. Ибо, куда бы ни посылал он Победу, она не должна была сопротивляться ему и исполнять свою волю, если она — богиня, подвластная ему, как царю.



Глава XVIII

А на каком основании является богиней Счастье? Ей построен храм, посвящен жертвенник и отправляется по-добающий культ. Пусть бы, по крайней мере, чтилось что-то одно. Ибо какого блага может не быть там, где есть счастье? Зачем же тогда почитают и признают богиней еще и Фортуна? Разве Счастье — одно, а Фортуна — другое? Потому (говорят), что фортуна может быть и злой; счастье же не было бы и счастьем, если бы оно было злым. Но на самом деле мы всех богов того и другого пола (если они имеют пол) должны считать добрыми. Так говорил Платон*, так говорят другие философы и наилучшие правители государств и народов. Каким же образом богиня Фортуна является иногда доброй, а иногда злой? Или, может быть, когда она бывает злой, перестает быть богиней и превращается вдруг в злого демона? Затем, сколько есть таких богинь? Вероятно, столько же, сколько людей, одаренных фортуною, т. е. пользующихся доброй Фортуною. Но так как вместе, т. е. в одно и то же время, с ними есть весьма много и таких, которые имеют злую фортуна, то неужели Фортуна, если это она же, бывает одновременно и доброй, и злой, — для одних одной, для других — другою? Или та, которая считается богинею, всегда добра? В таком случае она — то же, что и Счастье; к чему же тогда два названия?

Впрочем, с этим еще можно примириться: сплошь и рядом одна и та же вещь называется двумя именами. Но зачем — различные храмы, различные алтари, различные культы? Есть, говорят, и для этого причина: Счастьем пользуются люди добродетельные за предварительные заслуги, а Фортуна, именуемая доброй, выпадает на долю людей добродетельных и порочных безо всяких на то заслуг, случайно (*fortuitu*); почему и называется Фортуною. Но каким образом она добра, если приходит без всякого разбора и к добродетельным, и к порочным? Да и за что чтут ее, если она так слепа, что обрушивается на кого

* Plat. in Republ. II.



опало, минуя весьма часто своих почитателей и привязываясь к тем, кто ее презирает? А если ее поклонники отчасти и добиваются того, что она обращает на них внимание и любит их, то она получается уже за заслуги, приходит не случайно. Как же в таком случае оправдывается вышеприведенное определение фортуны? *Каким образом получила она свое имя от случая? Ведь, если она действительно фортуна, то нет никакой пользы от ее почитания. Если же она предпочитает выбирать своих поклонников, чтобы оказывать им содействие, то она уже не фортуна. Или и Фортуна посылает Юпитер, к кому ему угодно? В таком случае пусть чтут его одного: так как и Фортуна не может его послушаться, когда он приказывает ей и посылает ее туда, куда хочет. Или, по крайней мере, пусть почитают ее одни порочные люди, которые не хотят иметь заслуг, коими бы могли привлечь к себе богиню Счастье.

Глава XIX

Этому мнимому божеству, которое называется Фортуной, они приписывают так много, что занесли в свою историю, будто статуя Фортуны, посвященная ей матронами (и названная женской Фортуной*), даже разговаривала**: она будто бы сказала, и не раз, а дважды, что матроны почтили ее как должно. Если бы это и было так, удивляться не следует. Обольщать подобным образом злым демонам не составляет большого труда; свои уловки и лукавство они должны были бы применить в настоящем случае прежде всего потому, что говорила именно та богиня, которая благодетельствует случайно, а не приходит по заслугам. В самом деле, говорящей оказалась Фортуна, а Счастье — немой: к чему это, как не к тому, чтобы люди не старались жить добродетельно, положившись на Фортуну, которая сделала бы их счастливыми помимо всяких с их стороны заслуг? И если Фортуна действительно говорила,

* Liv. lib. II.

** Plutarch. in Coriolano et lib. de Fortuna Romana.



о пусть бы говорила, по крайней мере, не женская, а мужская Фортуна, дабы не возникло подозрение, что такое чудо выдумали из женской болтливости сами (матроны), посвятившие ей статую.

Глава XX

Сделали богиней и Добродетель, которая, если бы была действительно богиней, должна была предпочитаться многим. А так как она — не богиня, а дар Божий, то и сама должна испрашиваться у Того, Кто один может даровать ее; вся же толпа ложных богов должна исчезнуть. Но к чему сделана богиней и Вера, и получила даже храм и алтарь? Ее храмом бывает всякий, кто только благоразумно ей внимает. Но откуда им знать, что такое вера, первое и главнейшее дело которой — веровать в истинного Бога? Итак, почему не удовольствовались добродетелью? Не в ней ли и вера? По их мнению, добродетель должна быть разделена на четыре вида: благоразумие, справедливость, мужество и умеренность. Каждый из этих видов имеет, в свою очередь, свои подвиды; так, в справедливости заключается, как подвид, и вера. У нас же вера занимает главнейшее место и каждый из нас знает, что значат слова: “Праведный своею верою жив будет” (Аввак. II, 4).

Но если вера — богиня, я удивляюсь этим любителям толпы богов, почему своим пренебрежением они нанесли обиду другим столь многим богиням, которым также, как и вере, они могли посвятить храмы и алтари? Почему не удостоилась быть богиней умеренность, коль скоро благодаря ей некоторые римские государи снискали немалую славу? Почему, далее, не богиня — мужество, которое проявилось в Муции, когда он держал свою правую руку в огне; в Курции, когда он за свое отечество ринулся в пропасть; в Деции-отце и Деции-сыне, когда они обрекли себя на смерть за войско (если только во всех них было истинное мужество, о чем я пока не говорю)? Почему благоразумие и мудрость не удостоены между богами никакого места? Не потому ли, что все они чтутся под



общим именем добродетели? Но таким же образом можно было бы почитать и одного Бога, частями Которого признаются все прочие боги. Но в добродетели заключается и вера, и стыдливость, которые, однако, удостоены внешних алтарей в особых храмах.

Глава XXI

Всех этих богинь создала не истина, а суетность. Все они суть дары истинного Бога, а не самостоятельно существующие богини. Притом, чего еще недостает там, где находятся добродетель и счастье? Чем может быть доволен тот, кого не удовлетворяют добродетель и счастье? Добродетель обнимает собою все, что нужно делать; благополучие — все, чего следует желать. Если Юпитера они почитали для того, чтобы он ниспосылал добродетель и счастье; и к счастью же относится обширность и долговременное существование государства, если это суть нечто доброе: то почему не поняли они, что добродетель и счастье суть дары Божии, а не отдельные богини? А если уж они признали их богинями, то пусть бы не выдумывали, по крайней мере, остальной толпы богов и богинь. В самом деле, обзрев все те обязанности, которые им угодно было измыслить для своих богов и богинь сообразно с собственной фантазией, пусть укажут они что-нибудь такое, что от какого-нибудь бога можно было бы еще получить человеку, имеющему добродетель и пользующемуся счастьем? Каких наставлений просить у Меркурия или у Минервы, когда добродетель заключает в себе все? Ибо, по определению древних, добродетель есть искусство жить хорошо и справедливо. Поэтому от греческого слова *αρετη*, что значит добродетель, латиняне, как полагают, заимствовали термины *ars* и *artis*, искусство.

Но если добродетель может приходить только к человеку остроумному, в таком случае какая была нужда в боге Катие — отце, который делает людей *catos*, т. е. острыми разумом, когда это могло бы сообщать Счастье? Ведь родиться остроумным — счастье. Правда, человек еще не



рожденный не мог почитать богиню Счастье, чтобы, умиловитивленная им, она даровала ему остроумие; но она могла содействовать его родителям, своим поклонникам, чтобы сыновья их рождались остроумными. Какая была нужда роженицам призывать Люцину, когда при наличии Счастья они могли рожать не только благополучно, но и хороших младенцев? Зачем нужно было поручать рождающихся богине Опе, кричащих — богу Ватикану, лежащих в колыбели — богине Кунине, грудных — богине Румине, стоящих — богу Статилину, приходящих — богине Адеоне, уходящих — Абеоне; богине Менте, чтобы они имели добрый ум; богу Волюмну и богине Волюмне, чтобы желали доброго; брачным богам, чтобы счастливы были в супружестве; полевым богам, в особенности же самой Фруктезее, чтобы собирали обильнейшие плоды; Марсу и Беллоне, чтобы счастливо воевали; богине Виктории, чтобы оставались победителями; богу Гонору, чтобы были в чести; богине Пекунии, чтобы были при деньгах; богу Эскулану и его сыну Аргентину, чтобы имели медные и серебряные деньги? Эскулан потому и назван отцом Аргентина, что в обращении сперва явилась медная монета, а затем — серебряная. Удивляюсь только, что Аргентин не родил Аурина, потому что за серебряной монетой явилась золотая. Если бы имели они этого бога, они предпочли бы его и отцу Аргентину, и деду Эскулану, подобно тому, как Юпитера предпочли Сатурну.

Итак, какая была нужда ради этих, духовных ли то, или телесных внешних благ почитать и призывать такую тьму богов (которых я не всех и припомню, да и сами они не могли указать особых и специальных для всех человеческих благ, подразделяя их на виды и рассматривая отдельно), когда все это легче и короче могла бы сообщить одна богиня Счастье; так что в другом каком-нибудь боге не было надобности не только для получения добра, но и для устранения зла? Зачем, в самом деле, нужно было призывать для усталых богиню Фессонию, для изгнания неприятелей богиню Пеллонию, для больных врача Аполлона или Эскулапа, или, в случае большой опасности, обоих вместе? Не было бы надобности умолять ни бога



спиниенсиса, чтобы уничтожал он тернии (spinoe) на полях, ни богиню Рубигу (ржавчину), чтобы она не подходила к полям: присутствие одной богини Счастье не дозволило бы злу появиться и весьма легко устранило бы его. Наконец (мы имеем в виду, собственно, двух богинь: Добродетель и Счастье), если благополучие представляет собою награду за добродетель, оно уже не богиня, а дар Божий; если же оно — богиня, то почему нельзя сказать, что оно сообщает и саму добродетель, поелику иметь добродетель — великое счастье?

Глава XXII

На каком же основании хвалится Варрон, будто оказал своим согражданам великое благодеяние тем, что не только упомянул о богах, коих римляне должны почитать, но сказал и о том, что касается каждого из этих богов? “Как совершенно бесполезно, — говорит он, — знать имя и внешний вид какого-либо врача, но не знать, что такое врач; так же совершенно бесполезно знать, что есть бог Эскулап, если тебе неизвестно, что он помогает здоровью, и если ты не знаешь, таким образом, о чем ему должно молиться”. Эту мысль он подтверждает и другим сравнением, говоря, что не только жить хорошо, но и вовсе жить не может никто, не зная, что такое ремесленник, хлебопек, штукатур, к кому бы он мог обратиться по какой-либо надобности, — не зная, кого избрать помощником, кого руководителем, кого учителем; и прибавляет, что также точно полезно и знание богов, — знание о том, какою силой, способностью и властью обладает каждый бог по отношению ко всякой вещи. “Отсюда, — говорит он, — мы можем узнать, какого бога и о чем должны призывать и умолять, и не поступать подобно комедиантам: не просить у Либера воды, а у Лимф — вина”. Действительно, великая польза! Кто не поблагодарил бы его, если бы он учил истине: учил людей почитать единого истинного Бога, от Которого исходят все блага?



Глава XXIII

Но если их книги и религиозные установления истинны, и если Счастье действительно богиня, то почему почитается не она одна, которая может сообщить все; одним словом, сделать счастливым? Ибо чьи какие бы то ни было желания не сводятся к тому, чтобы быть счастливым? Почему же так поздно, после столь многих римских правителей, построил храм этой богине Лукулл? Почему не воздвиг ей храма прежде всего сам Ромул, желавший построить счастливый город? Ему не было нужды молиться о чем-либо прочим богам, когда при покровительстве этой богини у него было бы все. Ведь и сам он не сделался бы сперва царем, а потом, как верят они, богом, если бы не была милостивою к нему эта богиня. Зачем же установил он для римлян богов: Януса, Юпитера, Марса, Пика, Фавна, Тиберина, Геркулеса и многих других? Зачем Тит Таций присовокупил к этим еще Сатурна, Опу, Солнце, Луну, Вулкана, Свет и некоторых других, и между прочим — богиню Клоацину, пренебрегши Счастьем? Почему Нума прибавил столь многих богов и богинь, но не прибавил Счастья? Разве что потому, что в такой толпе не смог ее заметить? Царь Гостилий не ввел бы, конечно, новых богов, Испуга и Ужаса, если бы знал и чтил эту богиню. Ибо в присутствии Счастья всякий испуг и ужас не удалялись бы, умилостивленные, а убегали бы, изгоняемые.

Далее, что значит, что Римское государство уже существовало долго и достигло обширных пределов, а никто еще не почитал Счастья? Или потому-то оно и было скорее обширным, чем счастливым? Ибо каким образом могло быть истинное счастье там, где не было истинного благочестия? Истинное же благочестие есть поклонение истинному Богу, а не почитание стольких же богов, сколько есть и демонов. Но и вслед затем, когда Счастье принята была уже в число богов, наступило великое несчастье гражданских войн. Разве, может быть, Счастье справедливо разобиделась, что она была приглашена так поздно, и то не для чествования, а скорее для поругания, — так как вместе с нею почитались и Приап, и Клоацина, и Испуг,



Ужас, и Лихорадка, и прочие: скорее преступления почитающих, чем божества, достойные почитания?

Наконец, если уж нашли нужным почитать вместе с недостойнейшею толпою такую богиню, то почему не почитали ее хотя бы преимущественно перед остальными? Ибо кому не досадно, что (богиня) Счастье не поставлена ни в ряду богов-советников (*consenses*), которые приглашаются будто бы на совет к Юпитеру, ни в ряду богов, которые называются избранными (*selecti*)? Ей бы следовало устроить такой храм, который отличался бы и возвышенностью места, и превосходством зодчества. Почему бы даже не соорудить ей нечто лучшее, чем самому Юпитеру? Ведь кто, как не Счастье, дала царствовать и самому Юпитеру, если только он был счастлив во время своего царствования? Да счастье даже лучше, чем царство. Всякий согласится, что найти такого человека, который устрасился бы, пожалуй, быть царем, нетрудно; но нельзя найти такого, который не захотел бы быть счастливым. Пусть бы спросили по этому предмету, посредством ли авгуров, или иным каким-либо образом, которым они считают возможным спрашивать богов, — пусть бы спросили самих же богов: не пожелали ли бы они уступить место Счастью? Думаю, что сам Юпитер уступил бы ей даже вершину капитолійского холма, если бы оказалось, что место, где можно было бы построить Счастью обширнейший и возвышеннейший храм, занято уже храмами и алтарями других богов. Ибо никто не станет противиться Счастью, за исключением разве того, кто захотел бы быть несчастным, но это случай невозможный.

Юпитер, если бы его спросили, ни в коем случае не сделал бы того, что сделали по отношению к нему три бога: Марс, Термин и Ювента, которые своему старейшине и царю решительно не захотели уступить места. Ибо когда царь Тарквиний, как гласят их письменные памятники, захотел построить Капитолий, то место это, на его взгляд более приличное и достойное (Юпитера), оказалось занятым другими богами. Не осмелившись поступить в каком-либо отношении вопреки воле этих богов и думая, что они охотно сами уступят это место столь великому божеству



своему главе, он посредством авгуров спросил богов, которых было много на том месте, где теперь воздвигнут Капитолий: не желают ли они уступить его Юпитеру? Все боги согласились уступить, кроме упомянутых трех: Марса, Термина и Ювенты. Поэтому-то Капитолий построен был так, что внутри его находились и эти три бога; но статуи их так были сокрыты, что об этом едва знали самые ученые люди. Да, сам Юпитер не решился бы не уважить Счастья, подобно тому, как его самого не уважили те три бога. Но и они, не уступившие Юпитеру, без всякого сомнения уступили бы Счастью, которое поставило над ними Юпитера царем. А если бы и не уступили, то сделали бы это не по неуважению, а потому, что им захотелось бы лучше жить безвестными в доме Счастья, нежели красоваться на своих местах без него.

Будь водворена богиня Счастье на обширнейшем и возвышеннейшем месте, граждане знали бы, откуда следует просить помощи в каждом своем добром желании. Итак, по внушению самой природы, оставив излишнее множество прочих богов, они чтили бы одну Счастье, ей одной молились бы; ее храм посещали бы все те граждане, которые хотели бы быть счастливыми (а не быть такими из них никто не захотел бы); следовательно, у нее одной и просили бы всего, чего просят у всех богов. Ибо кто желает получить что-либо от какого бы то ни было бога, кроме Счастья, если то, чего он желает, непременно относится к счастью? Поэтому, если счастье имеет власть находиться при том или ином человеке (а оно имеет эту власть, если оно — богиня), то не крайне ли глупо умолять о нем того или иного бога, когда есть возможность просить его у него же самого? Таким образом, богиню эту они должны бы были почтить сравнительно с прочими богами и почетнейшим местом.

Сами же древние римляне, как мы это читаем у их же писателей, какого-то Суммана, которому они приписывали ночные перуны, почитали больше Юпитера, которому принадлежат перуны дневные. Но после того, как построен был Юпитеру обширный и возвышенный храм, по причине важности храма толпа устремила к нему



так, что едва ли можно сейчас найти человека, который припомнил бы, по крайней мере, что почиталось имя Суммана. Если же счастье — не богиня, так как (что полностью соответствует действительности) оно — дар Божий, то следует искать того Бога, Который может даровать его, а вредное множество демонов оставить, ибо служит ему бессмысленная толпа безумцев, делая себе богов из даров Божиих, а самого Бога, дары Которого они собой представляют, оскорбляет упорством гордой воли. Ведь тот не может избежать несчастья, кто чтит счастье как богиню и оставляет Бога — Подателя счастья, подобно тому, как тот не может не испытывать голода, кто лижет нарисованный на картине хлеб, а не просит его у человека, имеющего хлеб настоящий.

Глава XXIV

Но желательно послушать их рассуждения. Вероятное ли, говорят они, дело, что наши предки были до такой степени неразумны, что не знали: все это дары Божии, а не боги? Они знали, что всего этого нельзя приписать никому, кроме как только какому-либо щедродательному богу; но так как они не могли открыть имен этих богов, то называли их именами тех вещей, которые, по их мнению, даются ими, изменяя несколько эти имена в окончаниях: так, например, от слова *bellum* (война) они заимствовали название *Belloena*, от *cuna* (колыбель) — *Cupina*, от *seges* (зерновой хлеб) — *Segetia*, от *pomum* (яблоко) — *Pomona*, от *bus* (бык) — *Bubona*; или же без всякого изменения, совершенно в том виде, как называются и сами вещи: например, именем *Pecunia* называется богиня, дающая деньги (*pecunia*), именем *Virtus* — богиня, сообщающая добродетель (*virtus*), именем *Honor* — бог, дающий почет (*honor*), именем *Concordia* — богиня, сообщающая согласие (*concordia*), именем *Victoria* — богиня, дающая победу (*victoria*). Таким же точно образом, говорят они, когда Счастье называется богиней, то разумеется не сам



от предмет, который дается, а то божество, которое дает счастье.

Глава XXV

Выслушав эти рассуждения, мы гораздо легче, может быть, убедим в том, в чем желаем, тех из них, сердца которых не слишком еще огрубели. Ведь если и человеческая слабость осознала уже, что счастье может быть даровано только каким-либо богом; если это сознавали и те, которые почитали столь многих богов, и между прочими — царя их, Юпитера, — так как не зная имени того, кем ниспосылается счастье, они назвали его именем той самой вещи, которая им, по их представлению, ниспосылается: то этим они уже достаточно высказали, что счастья не может ниспослать сам Юпитер, которого они уже почитали, а ниспосылает его Тот, Кого они сочли нужным почитать под именем самого Счастья. Я с полной уверенностью утверждаю, что они верили: счастье ниспосылается неким Богом, Которого они не знали. Пусть же поэтому ищут Его, пусть Его-то и почитают, и этого будет достаточно. Пусть презирают скрежетание бесчисленных демонов: только тому будет недостаточно этого Бога, кому недостаточно дара Его. Тому же, кто им доволен (ибо для человека не существует ничего, чего бы он должен был желать более), тот пусть служит единому Богу, Подателю счастья. Это — не тот бог, которого называют Юпитером. Ибо, если бы признавали Юпитера подателем счастья, то под именем счастья не искали бы, конечно, другого или другую, кем оно ниспосылается, — да и самого Юпитера не почитали бы с такими обидами. Его называют они прелюбодеем, бесстыдным любовником и похитителем красивого мальчика.

Глава XXVI

“Но, — говорит Туллий, — все этой выдумал Гомер; он переносил человеческие деяния на богов; я же предпо-



«...ел бы обратное». Действительно, человеку серьезному не должен был нравиться поэт — выдумщик божественных преступлений. Но зачем же тогда театральные игры, в которых рассказываются, воспеваются, представляются и выводятся к чести богов эти деяния, учеными людьми причислялись к разряду вещей божественных? В этом случае Цицерон должен был жаловаться уже не на вымыслы поэтов, а на учреждения предков. Но не должны ли были воскликнуть в свою очередь и предки: «В чем же мы виноваты? Сами боги настаивали, чтобы все это отправлялось в их честь, строго повелевали нам это делать и грозили бедствиями, если не будем делать; они строжайшим образом мстили, когда что-нибудь не исполнялось, и являлись милостивыми, когда неисполненное выполнялось».

Расскажу, со своей стороны, о следующем событии, которое предание относит к числу их добродетелей и чудес. Титу Латинию, римскому поселянину и отцу семейства, было велено во сне объявить в сенате, чтобы римские игры отправлены были снова, так как в первый день этих игр была совершена на глазах у народа казнь одного преступника: богам-де, искавшим в играх веселого развлечения, было неприятно действие властей печального свойства. Когда же тот, которому дано было во сне приказание, наутро не посмел исполнить его, то в следующую ночь оно было повторено ему с большей строгостью; а так как он и на этот раз не исполнил, то потерял сына. В третью ночь ему было сказано, что его ожидает еще большее наказание, если он не сделает так, как ему приказывается. Когда же он не посмел этого сделать и после этого, то впал в мучительную и ужасную болезнь. Тогда, по совету друзей, он довел это до сведения правительства и был перенесен в сенат на носилках. Когда он передал там свой сон, то тотчас же выздоровел и удалился из сената на собственных ногах. Пораженный этим чудом, сенат определил возобновить игры, ассигновав на них вчетверо большую сумму.

Кто, имея здравый ум, не поймет из этого, что люди, подчинявшиеся власти злых демонов, от которой освобож-



дает только благодать Божия через Господа нашего Иисуса Христа, были принуждаемы силой отправлять в честь подобных богов такие вещи, которые при иных обстоятельствах казались бы гнусными? Именно в этих играх праздновались вымышленные поэтами преступления богов, и эти самые игры возобновлены были по велению сената, принужденного к этому богами. В этих играх гнуснейшие гистрионы воспевали, представляли и услаждали растлителя целомудрия — Юпитера. Если бы это было выдуманным, он должен был бы гневаться; если же он услаждался своими, хотя бы и вымышленными, преступлениями: то когда чтили его, разве не служили ему, как диаволу? Неужели же это он создал, распространял и сохранял Римское государство, — он, который был отвратительнее всякого римлянина, по мнению которого эти вещи были гнусными? Неужели это он ниспосылает счастье, — он, которого чтили как злого, и который еще злосчастнее гневался, если его не чтили именно таким образом?

Глава XXVII

В письменных памятниках встречается известие, что ученейший понтифик Сцевола делил богов на три рода: один из них был введен поэтами, другой — философами, третий — государственными властями. Первый род он называет баснословным, потому что он представляет множество недостойных вымыслов о богах; второй считает непригодным для государства, потому что в нем есть нечто лишнее, а нечто и такое, что было бы вредно знать народу. На лишнем не останавливаемся; и законоведы часто говорят: “Лишнее не вредно”. Но что разумеет он под тем, что, если оно дойдет до народа, будет вредным? “Вредно, — говорит он, — убеждение, что Геркулес, Эскулап, Кастор и Поллукс — не боги, так как философами доказывается, что они жили людьми и умерли как люди. Что еще? Мнение, что государства не имеют действительных изображений тех существ, которые суть боги; что Бог истинный не имеет ни пола, ни возраста, ни



пределенных частей тела”. Понтифик не хочет, чтобы народы знали эти вещи, потому что сам он считает все это истиной. Следовательно, по его мнению полезно, чтобы государства заблуждались в области религии. Именно такое же мнение высказал и Варрон в книгах о божественном. Хороша же религия, если слабый прибегает к ней за спасением, а между тем, вместо спасительной истины, которой он ищет, считают полезным для него обман!

В тех же письменных памятниках приводятся и те основания, по которым Сцевола отвергает род богов, введенных поэтами. Причина эта заключается в том, что “у поэтов боги обезображены до такой степени, что оказываются хуже порядочных людей: одного из них они заставляют воровать, другого — прелюбодействовать; они заставляют их также делать и говорить разные вещи, постыдные и нелепые; представляют трех богинь спорящими между собою о премии за красоту, и двух из них, побежденных Венерой, разрушающими Трою; самого Юпитера представляют превращающимся то в быка, то в лебедя, чтобы иметь сношение с какою-нибудь женщиной; Сатурна — пожирающим своих детей; богиню — выходящую замуж за человека; нельзя придумать такого дива и такого порока, которого бы не было у них, хотя это и не совместно с божескою природой”.

Эх, великий понтифик Сцевола! Уничтожь, если можешь, игры; прикажи народам не оказывать бессмертным богам таких почестей, в которых преступления богов вызывали бы удивление и, насколько возможно, подражание. Если же народ скажет тебе в ответ: “Это ввели у нас вы, понтифики”, — проси тогда самих богов, по настоянию которых вы делали подобные распоряжения, чтобы они приказали не оказывать себе подобных почестей. Если эти почести худы и потому решительно не совместимы с величием богов, то они представляют собою величайшее оскорбление богам, насчет которых безнаказанно выдумываются. Но боги тебя не слушают: они — демоны, а потому учат злumu и радуются постыдному; они не только не считают для себя оскорблением, если о них выдумываются подобные вещи, но скорее не в состоянии перенести



ой обиды, если им не оказывают подобных почестей. Допустим, что ты обратишься с жалобой на них к Юпитеру, особенно ввиду того, что на театральных играх представляются весьма многие преступления его самого; но, хотя вы и называете его богом, который управляет всем этим миром, разве не наносите вы ему величайшего оскорбления уже только тем, что считаете нужным почитать его вместе с ними и признаете его их царем?

Глава XXVIII

Итак, боги, которых умилоствуют, или, лучше сказать, обвиняют подобными почестями, так что с их стороны является большим преступлением, что они услаждаются этой ложью, чем если бы о них говорили истину, — такие боги ни в коем случае не могли увеличить и поддержать Римское государство. Если бы они могли это сделать, то столь великий дар они скорее сообщили бы грекам, которые в подобного рода божественных вещах, т. е. театральных играх, служили им с гораздо большим почтением и уважением, так как от язвительных насмешек, которым подвергали богов поэты, они не устраняли и себя, давая им свободу издеваться над какими им было угодно людьми, и самих актеров считали людьми не презренными, а достойными высокого уважения. Могли же римляне иметь золотую монету, хотя и не почитали бога Аурина; так же точно могли они иметь серебряную и медную монету, если бы не почитали ни Аргентина, ни его отца Эскулана. То же можно сказать и относительно всего, о чем снова заводить речь не хочется. Итак, без воли истинного Бога они никоим образом не могли бы иметь царства; но если бы они не знали или отвергли этих многих и ложных богов, а знали единого истинного Бога и служили Ему искренней верой и нравственностью, то и здесь имели бы лучшее царство, и потом наследовали бы царство вечное, независимо от того, имели ли они здесь царство, или не имели.



Глава XXIX

По их словам, то было прекраснейшим предзнаменованием, что, как мною было упомянуто выше, Марс, Термин и Ювента не захотели уступить места царю богов, Юпитеру. Это значило, говорят они, что поколение Марса, т. е. римский народ, никому не уступит того места, которым владеет; что и римских границ, благодаря Термину, никто не сдвинет; что римская молодежь, благодаря богине Ювенте, не отступит ни перед кем. Как же после этого смотрят они на царя своих богов и подателя всего царства, когда то предзнаменование выставляет его врагом, не делать уступок которому — дело прекрасное? Впрочем, если предзнаменование то истинное, им решительно нечего бояться. Они ведь не согласятся с тем, чтобы боги, не хотевшие сделать уступки Юпитеру, уступили Христу. Ибо они могли уступить Христу при неприкосновенности границ империи, удалившись только со своих мест, а главное — из сердец верующих.

Но прежде чем Христос пришел во плоти, прежде чем написано было то, что мы привели из их книг, хотя и после уже того, как дано было при царе Тарквиние упомянутое предзнаменование, римские войска несколько раз были разбиты и обращены в бегство, и предзнаменование, что Ювента не уступит Юпитеру, оказывалось ложным; а род Марса во время победы и вторжения галлов подвергся истреблению в самом Риме; наконец, и границы империи сокращены были до крайности в то время, когда многие города отпали и приняли сторону Ганнибала. Таким образом, прекрасная сторона предзнаменования оказалась вздором; действительным же осталось только упорство против Юпитера, причем не богов, а демонов. Ибо не уступить значит одно, а возвратиться опять на то место, которое уступлено, совсем другое. Впрочем, римские границы, особенно в восточной части империи, изменены были и после, волею Адриана. А именно: три превосходных провинции, Армению, Месопотамию и Ассирию, он уступил государству персов; так что бог Термин, охранявший, по мнению римлян, римские границы и в том прекрасном



предзнаменовании не уступивший Юпитеру места, оказался испугавшимся царя людей Адриана более, чем царя богов Юпитера.

Равным образом, когда затем провинции были возвращены обратно, Термин сделал уступку снова почти уже на нашей памяти. Это было тогда, когда Юлиан, веривший оракулам богов, издал безрассудный приказ: сжечь корабли, нагруженные съестными припасами; лишенное их войско, — когда вслед затем умер и сам он от раны, нанесенной врагом, — впало в такую нужду, что оттуда не вернулся бы никто (потому что неприятель отовсюду напирал на солдат, приведенных в смятение смертью императора), если бы по мирному трактату не были установлены границы там, где проходят они и доселе, — установлены, правда, не с таким уроном, какой допущен был Адрианом, однако же и не там, где они проходили прежде, а посередине между этими пунктами. Таким образом, по пустому предзнаменованию бог Термин не уступил Юпитеру, а воле Адриана, даже безрассудству Юлиана и крайности Иовиана — уступил. Благоразумнейшие и серьезнейшие из римлян понимали это, но были бессильны против обычая города, преданного демонским обрядам. И сами они, хотя и сознавали пустоту всего этого, думали, что религиозное почитание, приличное Богу, нужно воздавать природе вещей, находящейся под властью и управлением единого истинного Бога; “служили, — как говорит апостол, — твари вместо Творца, Который благословен во веки” (Рим. I, 25). Необходима была помощь того истинного Бога, Который посылает святых и истинно благочестивых мужей, умирающих за истинную религию, дабы избавить живых от религии ложной.

Глава XXX

Цицерон, сам будучи авгуром, смеется над авгуриями и упрекает людей, основывающих свои житейские предприятия на крике ворона или вороны*. Но этот сомне-

* De Divination. lib. II, cap. 37.



зающийся во всем академик не имеет в подобных вещах никакого авторитета. У него во второй книге о природе богов рассуждает Люцилий Бальб, и хотя выводит суеверия из природы вещей, представляя их как бы философскими и физическими, однако негодует на введение статуй и на баснословные мнения, говоря таким образом: “Итак, не видишь ли, что физические открытия, послужившие ко благу и пользе, дали повод к измышлению ложных богов? Отсюда родились ложные мнения, грубые заблуждения и старушечьи суеверия. Нам ведь известны и фигуры богов, и их возраст, и одежды, и украшения; роды, браки, родственные связи и все прочее перенесено на них по аналогии с человеческой немощью. Их представляют нам и испытывающими душевные волнения: мы слышали о желаниях, скорбях и гневе богов. Были между богами (как гласят басни) даже войны и сражения. По словам Гомера, боги не только защищали два враждебных войска, одни — одно, другие — другое, но вели и собственные войны с титанами или гигантами. Говорить об этом, верить этому — крайне безрассудно: все это в высшей степени пусто и легкомысленно”*.

Вот что говорят защитники языческих богов! Затем, сказав, что все это относится к суевериям, а к религии — то, что говорит он, очевидно, с точки зрения стойков, он продолжает: “Не только философы, но и предки наши отделяли религию от суеверия. Суеверными (*superstitiosi*) называли они тех, которые по целым дням молились богам и приносили жертвы, чтобы дети их пережили их (*superstites essent*)”**. Кто не поймет, что, боясь распространенного среди граждан обычая, он старается хвалить религию предков и хочет отделить от нее суеверие, но как это сделать, не знает? Ибо, если суеверными предки называли тех, которые по целым дням молились и приносили жертвы, то разве будут суеверными те, которые ввели статуи богов в различном возрасте и различной одежде, роды, браки и родственные связи богов? Ведь если эти

* De Natura Deor. lib. II, cap. 28.

** Lactant. Div. Inst. lib. IV, cap. 28.



вещи порицать как суеверные, то виноваты в них будут предки, которые ввели и чтили статуи богов; виноват будет и он сам, который, как бы красноречиво ни старался вырваться на свободу, считал необходимым почитать их; виноват и в том, что о том, о чем он так красноречиво рассуждает в приведенном разговоре, не посмеет и заикнуться в народном собрании.

Возблагодарим же, христиане, Господа Бога нашего; возблагодарим не небо и землю, как говорит Бальб, но Того, Кто сотворил небо и землю. Кто через величайшее смирение Христа, проповедь апостолов, веру мучеников, умерших за истину и живущих с истиной, исторг те суеверия, которые слегка, как бы картавя (balbutiens), порицает Бальб, не только из благочестивых сердец, но и из суеверных храмов, пленив их в свое свободное рабство.

Глава XXXI

А сам Варрон, о котором мы говорили с сожалением, что он, пусть и не по собственному своему убеждению, поставил театральные игры в разряд божественных вещей, — сам Варрон, хотя, будучи человеком благочестивым, во многих местах своих сочинений и убеждает почитать богов, не сознается разве, что следует существующей в Римском государстве религии не по собственному убеждению, когда решается высказать мысль, что если бы ему пришлось строить новый город, он заимствовал бы систему богов и имена их скорее всего из природы? Но живя, по его словам, среди древнего народа, он считал себя обязанным держаться принятой предками истории об именах и прозвищах богов в том виде, в каком она передала их потомству, и то, что писал и исследовал, писал и исследовал с той целью, чтобы народ был расположен скорее почитать этих богов, чем презирать их. Этими словами он, человек весьма тонкий, дает достаточно понять, что он не открывает всего того, что не только для него было бы презренным, но показалось бы презренным и народу, если бы не было обойдено молчанием.



Можно было бы считать это лишь моим предположением, если бы он сам в другом месте, говоря о религии, ясно не сказал, что есть (в религии) много такой правды, которую народу знать вредно; равно если есть и ложное, то бывает полезно, чтобы народ смотрел на это иначе: поэтому-то греки свои таинства и мистерии ограждали стенами и молчанием. В этом случае он, действительно, выдал нам тайную мысль якобы мудрецов, которые управляли государствами и народами. Однако же, подобными обманами с удивительным лукавством пользуются злые демоны, которые одинаково держат в своей власти как обманывающих, так и обманываемых, и от власти этой не может освободить ничто, кроме благодати Божией через Господа нашего Иисуса Христа.

Тот же весьма тонкий и ученый автор говорит, что, по его мнению, только те одни поняли, что такое Бог, которые представляли его душою, управляющею миром посредством разума и движения. А поэтому, хотя он еще и не достиг самой истины, ибо Бог — не душа, а Создатель и Податель душ, однако, если бы мог избавиться от предрассудков, признал бы и убедился сам, что надлежит почитать единого Бога, Который движением и разумом управляет миром; так что у нас с ним осталось относительно этого разногласие только в том, что, по его словам, Бог — душа, а не Творец душ. Еще он говорит, что древние римляне чтили богов без кумиров в продолжение более ста семидесяти лет. “Если бы, — замечает он, — так было и доселе, то боги почитались бы с большею чистотой”. В подтверждение этого своего мнения он указывает, между прочим, и на народ Иудейский, и в заключение говорит, что первые, поставив для народа статуи богов, уничтожили в своих государствах страх и увеличили заблуждение; ему казалось, и не без основания, что боги легко могут быть презираемы вследствие нелепости статуй. А что он не употребляет выражения: “внесли заблуждение”, но — “увеличили”, то этим дает понять, что заблуждение уже существовало и тогда, когда статуй еще не было.

Кто не поймет из этого, насколько близок был он к истине, когда говорил, что только те понимали, что такое



ог, которые представляли Его душою, управляющею миром, и когда полагал, что религия сохраняется в большей чистоте без кумиров? И если бы он был в состоянии что-либо сделать против этого застарелого заблуждения, то признал бы, конечно, что Бог, управляющий миром, один, и что чтить Его надлежит без кумиров; и будучи так близок к истине, легко, быть может, убедился бы в изменяемости души; так что понял бы, что истинный Бог есть неизменяющаяся сущность, которая создала и саму душу. А если так, то какие бы нелепости о многих богах такие мужи ни говорили в своих книгах, они, побуждаемые сокровенною волей Божией, скорее выводили эти нелепости на свет, чем пытались убеждать в них. Поэтому, если мы приводим из них свидетельства, то приводим в укор тем, которые не хотят вникнуть, от какой и насколько злобной власти демонов освобождает нас единственная жертва столь святой пролитой крови и дар испрошенного нам Духа.

Глава XXXII

Говорит он также, что и относительно родословий богов народы склонялись скорее на сторону поэтов, чем физиков; а потому предки его, т. е. древние римляне, верили и в пол, и в родословия богов, а также и в брачные их союзы. Все это сделалось очевидным вследствие именно того, что мнимо-разумные и мнимо-мудрые люди позаботились о том, как обманывать народ в религии, и тем самым не только почитать демонов, но и подражать им, преисполненным величайшей страстью к обману. Ибо они, как демоны, могут обладать только теми, кого прельщают обманом; так же точно и люди-правители, не справедливые, конечно, а подобные демонам, — то, что знали как ложное, выдавали народу от лица религии за истинное, связывая его этим как бы более тесным гражданским союзом, чтобы подобно демонам повелевать покорными. А какой слабый и неученый человек мог устоять против совместно действовавших лжецов — правителей государства и демонов?



Глава XXXIII

Итак, оный Бог, Виновник и Податель счастья, — поелику один есть истинный Бог, — сам раздает земные царства и добрым, и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно (ибо Он — Бог, а не Фортуна), но сообразно с порядком вещей и времен, — порядком для нас сокровенным, а Ему вполне известным. Этому порядку Он не подчинен, однако же, рабски, а царствует над ним, как Владыка, и располагает им, как Правитель. Но счастье Он ниспосылает только добрым. Это счастье могут иметь и не иметь подданные, могут иметь и не иметь царствующие. Полным оно будет в той жизни, где никто уже не будет рабом. Отсюда, земные царства Он дает и добрым, и злым, чтобы Его почитатели, еще младенцы в духовном своем совершенствовании, не желали от Него этих даров как чего-то великого. В том заключается и таинственность Ветхого завета, в коем скрывался Новый, что в нем обетованы были и земные дары: люди, жившие духовной жизнью, и тогда понимали, хотя открыто еще и не проповедовали, как то, что теми временными вещами обозначалось, так и то, в каких дарах Божиих заключается истинное счастье.

Глава XXXIV

Итак, дабы дать разуметь, что земные блага, к коим стремятся те, которые не в состоянии помыслить о лучшем, находятся во власти единого истинного Бога, а не многих ложных богов, которых прежде почитали римляне, Бог из нескольких человек размножил Свой народ в Египте и освободил его оттуда чудесными знаменами. Иудейские женщины не призывали Люцины, когда рожденных ими младенцев Бог сам освобождал и охранял от рук египтян, преследовавших и убивавших всех детей, — охранял для того, чтобы они удивительным образом умножались и чтобы народ этот возрастал до невероятности. Дети кормились грудью без богини Румины; лежали в колыбелях



без богини Кунины; принимали пищу и питье без Эдуки и Потины, воспитывались без всего этого множества детских богов; женились без богов брачных; совокуплялись с супругами без культа Приапа. Без призывов к Нептуну разделилось море, когда они его переходили, и покрыло соединившимися вновь волнами преследовавших их врагов. Они не сделали предметом поклонения никакой богини Маннии, когда получили с неба манну, и не стали почитать Нимф и Лимф, когда камень от удара жезла исторг для них, жаждущих, воду. Без сумасбродных культов Марсу и Беллоне они вели войны, и побеждали хотя не без победы, но считали ее не богиней, а даром Божиим. У них и без Сегетии были жатвы, без Бубоны — волы, без Меллоны — мед, без Помоны — яблоки; словом все, из-за чего римляне считали нужным молиться такой толпе богов, они получали с гораздо большим счастьем от одного истинного Бога. И если бы, увлекаемые нечестивым любопытством, точно какими-то магическими чарами, они не грешили против Него, сначала отпадая к чужим богам и идолам, а потом убив Христа, то продолжали бы жить в том же царстве, если и не особенно обширном, то во всяком случае — счастливом. И в настоящее время то обстоятельство, что они рассеяны почти по всем странам и народам, есть дело провидения единого и истинного Бога. Из их священных книг можно удостовериться, каким образом еще задолго до этого было пророчески предсказано повсеместное истребление идолов, алтарей, рощ и храмов ложных богов и запрещение жертвоприношений; иначе, читая об этом, кто-нибудь мог бы, пожалуй, подумать, что все это выдуманно нами. О дальнейшем читай в следующей книге; теперь же пора и честь знать.



КНИГА ПЯТАЯ

Предисловие

Известно, что все, чего мы желаем, сводится к счастью, которое суть не богиня, а дар Божий. Посему людям не следует почитать никакого другого бога, кроме Того, Который может сделать их счастливыми; а если бы счастье было богиней, было бы справедливо утверждать, что одна эта богиня и должна почитаться. Поэтому нам сейчас надлежит рассмотреть те причины, по которым Бог, Который может даровать и такие блага, какие могут иметь и люди недобрые, а потому и несчастные, соизволил, чтобы Римское государство было таким великим и существовало столь долгое время. Что не множество ложных богов, которых римляне почитали, делало это, об этом мы много уже говорили и еще скажем там, где это окажется уместным.

Глава I

Итак, величие Римского государства не было делом ни случая, ни судьбы, согласно мнению тех, которые делом случая называют то, что не имеет никаких причин или происходит не в силу какого-нибудь разумного порядка, а делом судьбы — то, что случается в силу некоего неизбежного порядка, вопреки воле Божией и воле людской. Человеческие царства устраиваются божественным провидением; если же кто-либо приписывает это судьбе на том основании, что судьбой называет саму божественную волю и силу, такой пусть эту мысль сохранит, но выражение ее исправит. Ибо почему бы ему не сказать сразу же того, что он скажет после, когда кто-нибудь спросит его, что он понимает под судьбою? Ведь когда люди слышат это слово, они, согласно обычному его употреблению, понимают под ним ничто иное, как влияние известного положения звезд в тот момент, когда кто-либо



ождается или зачинается. Это влияние некоторые представляют независимым от воли Божией, а некоторые утверждают, что оно именно на ней и основывается.

Те, которые полагают, что звезды определяют помимо воли Божией, что мы будем делать, какие будем иметь блага или какие претерпим бедствия, должны внушать справедливое отвращение всем: не только исповедывающим истинную религию, но и тем, которые желают быть поклонниками каких бы то ни было, хотя бы и ложных богов. Ибо к какому иному следствию приводит это мнение, как не к тому, что не нужно почитать и поклоняться решительно никакому богу?

Впрочем, наше рассуждение направлено не против таких, а против тех, которые ради защиты мнимых богов относятся враждебно к религии христианской. Те же, которые ставят в зависимость от воли Божией положение звезд, известным образом определяющих, каким кто будет и что с ним случится доброго или дурного, те, — если они думают, что высшей божественной властью звездам предоставлены такие права, что они определяют упомянутое по своей доброй воле, — наносят великое оскорбление небу: ибо по их представлениям выходит, что в своего рода светлейшем небесном сенате и блистательнейшей небесной курии определяется, что должны совершаться и злодеяния. Постанови подобное какой-нибудь земной город, он был бы разрушен по решению рода человеческого. Затем, какое место оставляется суду Божию о делах человеческих, которым придается как бы небесная необходимость, в то время как Господь — Господь и звезд, и людей? Если же скажут, что звезды, хотя и получают власть от верховного Бога, определяют упомянутое не по своему произволу, а при известном сочетании неизбежных условий выполняют только Его повеления, в таком случае не придется ли и о самом Боге думать то, что оказалось в высшей степени недостойным приписывать воле звезд?

Скажут, что звезды скорее обозначают упомянутое, чем производят его, так что известное положение их есть как бы своего рода фраза, предсказывающая будущее, но не решающая его. Действительно, такого мнения держались



некоторые весьма ученые люди. Хотя математики и не имеют обыкновения высказываться так, — не говорят, например: “Марс в таком-то положении обозначает человекоубийцу”; а говорят: “Марс производит человекоубийцу”, — допустим, что они говорят не так, как следует, и что для объяснения того, что, по мнению их, они находят в известном положении звезд, им нужно было бы заимствовать образ выражения у философов. Но в таком случае как это выходит, что они никогда не могли толком объяснить, откуда в большинстве случаев такая разница в судьбах близнецов: и в деятельности их, и в приключениях, и в занятиях, и в искусствах, и в общественном положении, и в других обстоятельствах человеческой жизни; так что многие люди, посторонние в этом отношении, более бывают похожи на какого-нибудь из них, чем сами близнецы друг на друга, хотя они при рождении бывают отделены самым незначительным промежутком времени, а зачинаются в одном совокуплении, в один и тот же момент?

Глава II

Цицерон говорит, будто знаменитый врач Гиппократ оставил в своих сочинениях заметку, что когда некие братья вместе начали болеть, и болезнь их в одно и то же время усиливалась и в одно и то же — отступала, он догадался, что они близнецы. Относительно таких стоик Посидоний, ревностно преданный астрологии, обыкновенно утверждал, что они родились и были зачаты при одном и том же положении звезд. Таким образом то, что по мнению врача указывало на ближайшее сходство в состоянии здоровья, то по мнению философа-астролога относилось к влиянию и расположению звезд, бывшему во время их зачатия и рождения.

В подобном вопросе более заслуживает внимания и гораздо вероятнее предположение врача. Ибо каково было телесное состояние родителей во время совокупления, таким же могло быть и состояние зачатков зародышей, так что они могли родиться с полученными из материнс-



кого тела первыми задатками одинакового здоровья. Затем следовало воспитание в одном доме, одинаковое питание; большое влияние, по свидетельству медицины, имеют на здоровье воздух, местоположение и качество воды, а также привычка к одним и тем же упражнениям; все это образует до такой степени сходные тела, что одни и те же причины одинаково располагают их и к одновременному заболеванию. Ставить же одновременность заболевания в зависимость от расположения неба и звезд в то время, как они были зачаты или рождены, когда в то же самое время на полосе земной, находящейся под теми же небесными знаками, могло зачатся и родиться множество людей самых различных классов, самых различных характеров и с разной участью, на мой взгляд, крайне дико. С другой стороны, мы знали близнецов, которые не только различались своею деятельностью и странствованиями, но и болезням подвергались различным.

На мой взгляд, Гиппократ естественнее всего объяснил бы это тем, что различие в состоянии их здоровья могло произойти от разницы в питании и в тех упражнениях, которые зависят не от телесной конституции, а от душевной воли. Но было бы удивительно, если бы по этому предмету нашелся что сказать Посидоний или какой-либо другой защитник теории рокового влияния звезд, если бы не вздумал насмеяться над невежественными умами в тех вещах, которых они не понимают. Те же выводы, которые они стараются делать из незначительного промежутка времени, отделяющего друг от друга близнецов во время их рождения, принимая во внимание частичку неба, в которой производится наблюдение часа, называемое ими гороскопом: то эти выводы или указывают на меньшую разность, чем сколько обнаруживается ее в воле, в действиях, в нравах и в случайностях жизни близнецов; или предполагают даже большую, чем какая есть между близнецами при тождестве их низкого или знатного происхождения, различие в котором они главным образом ставят в зависимость от часа рождения. В силу этого, если близнецы рождаются один после другого так скоро, что указание гороскопа остается тем же, я требую соблюдения такого



рождения во всем, чего не могут представить ни одни близнецы; если же замедление рождающегося вторым изменяет гороскоп, я требую и различных родителей, которых близнецы иметь не могут.

Глава III

Напрасно поэтому ссылаются на знаменитый опыт с гончарным колесом, который придумал, говорят, Нигидий в ответ на этот затруднивший его вопрос; почему и получил прозвание Фигула (гончара). Повернув гончарное колесо с такою силой, с какою в состоянии был это сделать, он во время кружения его быстро прикоснулся к нему два раза черной краской как бы в одном и том же месте. Когда движение колеса прекратилось, сделанные им знаки были найдены на окраине колеса на немалом расстоянии один от другого. Так же точно, сказал он, при известной быстроте небесного круговращения, хотя бы один после другого рождался с той же скоростью, с какой я два раза прикоснулся к колесу, это дает большую разницу в небесном пространстве. От этого, пояснил он, оказывается весьма значительное различие в нравах и превратностях жизни двойняшек.

Этот аргумент хрупче сосудов, которые лепятся тем колесом. Ведь если наблюдение неба так трудно, что по созвездиям нельзя понять, почему одному из близнецов достается наследство, а другому нет, то как они, рассматривая созвездия других, которые не близнецы, осмеливаются предсказывать то, что является непостижимым таинством, и приурочивать это к минутам рождения? Скажут, что они делают подобные предсказания относительно других рождающихся потому, что эти предсказания основываются на наблюдении более продолжительных промежутков времени; а те незначительные части минут, которые могут отделять близнецов друг от друга во время рождения, относятся к обстоятельствам пустым, о которых математиков обыкновенно не спрашивают (кто, например, станет спрашивать, когда будет сидеть, когда будет ходить,



огда или что кушать?). Но разве мы говорим о таких вещах, когда указываем множество и весьма важных различий в нравах, деятельности и случайностях жизни близнецов?

Глава IV

По свидетельству древней истории, родились два близнеца (я остановлюсь только на особо выдающихся случаях) один после другого так, что второй держал ступню первого. А между тем в жизни и нравах их была такая противоположность, в действиях такое различие, в родительской любви к ним такое несходство, что все это сделало их врагами. Такого ли рода это несходство, что когда один-де ходил, другой сидел; или когда один спал, другой бодрствовал; или когда тот говорил, этот молчал? Подобные вещи относились бы к тем мелочам, которых не могут отметить определяющие положение звезд, под которым каждый рождается, и на основании которого математики дают свои ответы. Но один из них был за плату в рабстве, другой не был рабом; одного любила мать, другого не любила; один потерял честь, которая считалась у них великой, другой приобрел ее. А какое различие в том, что касается жен, сыновей, имущества? Итак, если это зависит от тех незначительных промежутков времени, которыми отделяются друг от друга (при рождении) близнецы, и не определяется созвездиями, то на каком основании подобные вещи предсказываются, когда рассматриваются созвездия других (не близнецов)? Если же предсказываются на том основании, что относятся не к неуловимым моментам, а к определенным пространствам времени, возможным для наблюдения и отметки, то причём здесь гончарное колесо? Или притом, чтобы с его помощью кружить глиняные головы людей и не давать им возможности убедиться в пустословии математиков?



Глава V

Те самые, в которых Гиппократ узнал близнецов, наблюдая в качестве врача за их болезнью, которая одновременно у обоих то усиливалась, то отступала, — эти самые не достаточно ли опровергают приписывающих звездам то, что зависело от сходства в телесной организации? Ибо почему они болели одинаково в одно и то же время, а не один прежде, другой после, как и родились (вместе ведь они никоим образом не могли родиться)? Если же то обстоятельство, что они родились не одновременно, не послужило причиною того, что они болели в разное время, то на каком основании утверждают, что разница во времени рождения имеет влияние на различие в других условиях жизни? Почему бы они могли в разное время путешествовать, в разное время брать жен, в разное время рождать детей и так далее, в силу того, что родились в разное время, но не могли в силу того же самого и болеть в разное время? Ведь если относительное замедление рождения изменило гороскоп и внесло различия в другие условия жизни, то почему же в отношении болезней осталось в силе то тождество, которое имело место при одновременности зачатия? А если причины, роковым образом определяющие здоровье, кроются в зачатии, а причины, определяющие другие обстоятельства жизни, считаются зависящими от рождения, то они не должны на основании наблюдения созвездий в момент рождения давать какие-либо предсказания относительно здоровья, коль скоро час зачатия не подлежит их наблюдению. Если же, не наблюдая гороскопа зачатия, предсказывают болезни на том основании, что на них указывают моменты рождения, то каким образом они на основании часа рождения предсказали бы какому-либо из упомянутых близнецов время, когда он заболит, коль скоро и другой, не имевший того же самого часа рождения, должен был заболеть одновременно с ним?

Затем спрашиваю: если разница во времена рождения близнецов имеет такое важное значение, что по причине ее они должны находиться под различными созвездиями и потому иметь различный гороскоп, а с ним и различные



сочетания всех планет, в каковых (сочетаниях) предполагается такая сила, что от них зависит и различие судеб: то каким образом это могло случиться, если их зачатие не могло произойти в разное время? Если один момент, в который оба были зачаты, не помешал одному родиться прежде, а другому после, то почему бы, если бы оба родились в один и тот же момент, помешало что-либо одному умереть прежде, а другому после? Если одновременность зачатия позволяет близнецам во чреве иметь различный исход, то почему одновременность рождения не позволила бы каким-либо двум людям иметь различный исход, хотя бы этим и разрушались все вымыслы искусства или, вернее, вздора, о котором идет речь? Почему, в самом деле, зачатые в одно и то же время, в один и тот же момент, при одном и том же положении неба — имеют различную судьбу, которая дает им различные часы рождения, а двое, одинаково родившиеся в один и тот же момент времени при одном и том же положении неба, но от двух матерей, не могут иметь различной судьбы, которая заставила бы их жить и умереть различным образом? Или зачатые еще не имеют судьбы и не могут ее иметь, пока не родятся? В таком случае зачем утверждают, будто эти вещуны могут многое предсказать, если будет определен час зачатия? Некоторые даже рассказывают, будто какой-то мудрец специально подобрал определенный час, чтобы лечь с женою, и вследствие этого родил удивительного сына.

Наконец, и то обстоятельство, что упомянутые близнецы одновременно болели, великий астролог, он же и философ Посидоний объясняет именно тем, что они в одно и то же время были рождены и в одно и то же время зачаты. Зачатие он присоединял, конечно, для того, чтобы ему не сказали, что одновременность рождения несомненно зачатых в одно и то же время не может считаться несомненной, и чтобы ту случайность, что они болели одинаково и вместе, он не вынужден был естественным образом объяснить одинаковой организацией тел, а мог одинаковое состояние здоровья поставить в зависимость от созвездий. Итак, если зачатие имеет такое влияние на



динаковость судеб, то рождающиеся не должны были изменять этих судеб временем своего рождения. Если же судьбы близнецов изменяются потому, что они рождаются в разное время, то почему же не считать эти судьбы уже изменившимися, так как они родились разновременнo? Не изменяет ли судьбы рождения и воля живущих точно также, как изменяет судьбы зачатия порядок рождающихся?

Глава VI

Но и при самом зачатии близнецов, в котором, несомненно, моменты времени для обоих тождественны, каким образом происходит так, что один зачинается мужчиной, а другой — женщиной? Мы ведь знаем близнецов различного пола: оба они еще живут, оба еще в цветущих годах. Телесным своим видом, насколько это возможно при различии пола, они похожи друг на друга, но по образу и целям жизни весьма между собою различны. Не говорю о неизбежном различии мужской и женской деятельности, как, например, о том, что один состоит на службе комита и почти постоянно находится вне своего дома, а другая живет безвыходно в отеческом доме, в собственной деревне; но что наиболее удивительно, если верить роковым предопределениям звезд, и неудивительно вовсе, если принимать в соображение человеческую волю и дары Божии, это — что один женат, а другая — среди освященных дев; тот родил многочисленное потомство, а эта и не вступала в брак. Очень ли велико на этот раз влияние гороскопа?

Сколь оно ничтожно, я показал уже достаточно. Каково бы оно там ни было, говорят они, оно имеет место при рождении. Не скажут ли, что и при зачатии? Ведь совокупление на этот раз было явно одно: свойство природы таково, что раз зачавшая женщина не может (до родов) еще раз зачать; следовательно, близнецы зачинаются в один и тот же момент. Но может быть, так как они родились под различным гороскопом, то во время самого рождения один изменился в мужчину, а другая в женщину?



Не рискуя сказать неизбежную глупость, можно было бы утверждать, что влияние звезд простирается на одни телесные различия, подобно тому, как от приближения и удаления солнца проистекает различие времен года и от приращения и убыли луны увеличиваются и уменьшаются некоторые роды вещей: например, морские ежи, раковины и удивительные приливы океана; но что душевные расположения не подчиняются положению звезд. В таком случае эти господа, старающиеся поставить в зависимость от него сами наши действия, пусть надоумят нас, каким образом объяснить то обстоятельство, что принцип этот оказывается неприменимым даже к телам. Ибо что имеет более близкое отношение к телу, как не пол? А между тем, под одним и тем же созвездием могут быть зачаты близнецы разного пола. И затем, можно ли что-либо сказать или подумать бессмысленнее, чем то, что известное положение звезд, бывшее одинаковым для обоих в час зачатия, не могло сделать так, чтобы сестра, имевшая с братом одно и то же созвездие, не имела различного с ним пола; но то положение звезд, которое было в час их рождения, могло сделать так, что она столь сильно отличается от него своею девственной святостью.

Глава VII

Далее, кто найдет здравый смысл в стараниях этих людей создать для своих действий некоторым образом новые судьбы посредством выбора для них известных дней? Он, изволите ли видеть, не родился так, чтобы мог иметь удивительного сына, а скорее так, что должен бы был родить сына, заслуживающего презрение; а поэтому, как человек ученый, избирает известный час для соединения с женою. Таким образом, он создает судьбу, которой не имел, и действие его дает начало року, которого не было в его рождении. Замечательная глупость! Выбирается известный день для женитьбы; делается это, я думаю, для того, чтобы в противном случае не напасть на недобрый день и не жениться несчастливо. Куда же девалось в таком



лучае то, что было уже определено звездами при самом рождении? Или человек может выбором известного дня изменить то, что для него уже предопределено, а затем то, что он предопределил сам для себя избранием известного дня, уже не может быть изменено никакой другой властью?

Затем, если одни только люди, а не все, что существует под солнцем, подчинены созвездиям, — зачем они выбирают известные как бы наиболее благоприятные дни для посадки виноградных лоз, деревьев и посева нив, а другие, также как наиболее подходящие, для обезживания животных, для случки при оплодотворении кобылиц и коров и т. п.? Если же выбор определенных дней для этих вещей имеет значение потому, что известное положение звезд в различные моменты времени господствует над всеми земными телами, одушевленными ли то, или неодушевленными, то в таком случае пусть обратят внимание на бесчисленное количество вещей, которое рождается, возникает, зачинается в один и тот же момент времени, и, однако, имеет при этом различный исход; их наблюдения заставят смеяться даже карапуза.

В самом деле, кто будет настолько безумен, что решится утверждать, будто все деревья, все травы, все животные, пресмыкающиеся, птицы, рыбы, черви, каждая особь в отдельности имеют различные моменты рождения? Тем не менее, известные люди имеют обычай для испытания искусства математиков представлять на рассмотрение их созвездия бессловесных животных, тщательно наблюдая для этой цели за их рождением у себя дома, и предпочитают всем другим тех математиков, которые, рассмотрев созвездия, скажут, что родилось животное, а не человек. Последние имеют смелость определять даже качества животного и то, для чего оно годно: для шерсти ли, или для езды, или для плуга, или для охраны дома. Пытаются они определять и собачьи судьбы и дают упомянутые ответы при громких восклицаниях со стороны удивленных слушателей. Так безумствуют люди, полагая, что в то время, как рождается человек, появление других предметов приостанавливается так, что вместе с человеком под одной